

[Polaris]

Марк Твен



ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СРЕДИ МИКРОБОВ

Приключения в микромире

Том IV

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

LX



Salamandra P.V.V.

Марк Твен

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СРЕДИ МИКРОБОВ

**Приключения
в микромире**

Том IV

Salamandra P.V.V.

Твен М.

Три тысячи лет среди микробов (Приключения в микромире. Том IV). Пер. Л. Биндеман, М. Фоменко. Комм. М. Фоменко. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 162 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. LX).

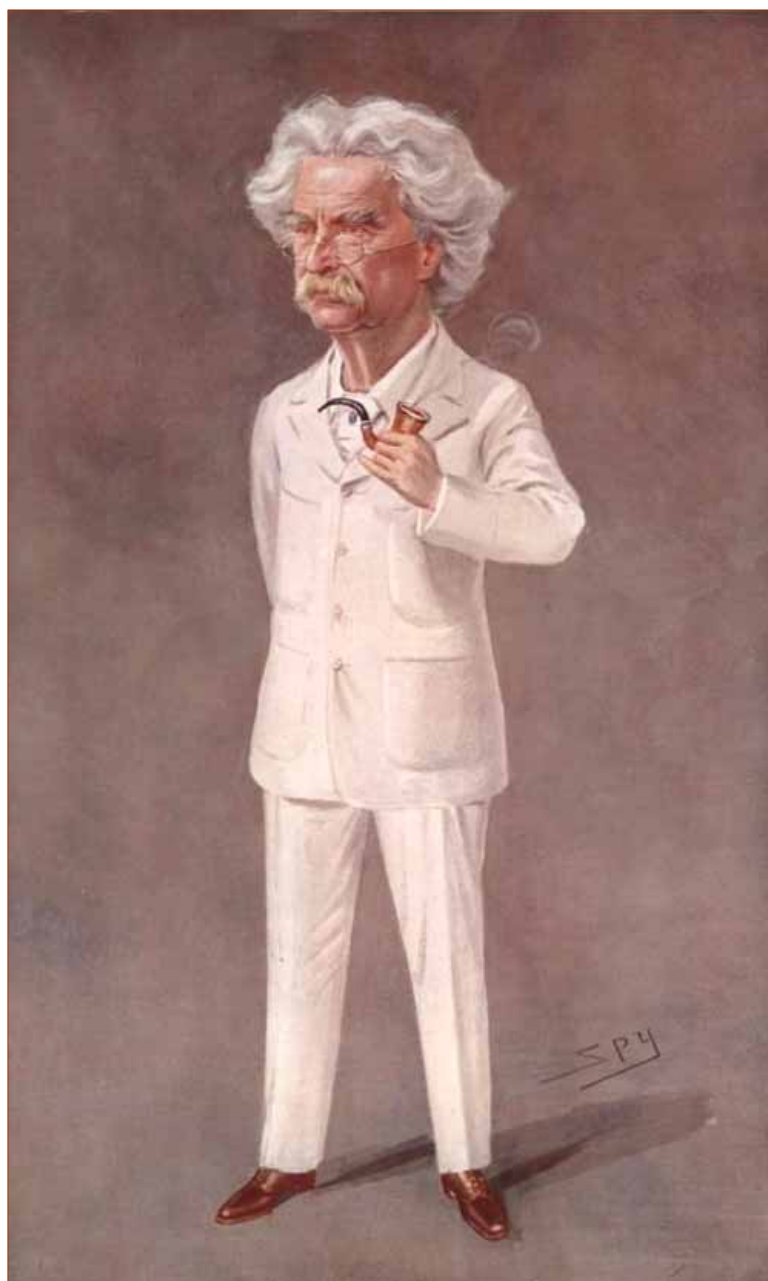
Гигантские пауки и крошечные люди, кровопролитные битвы муравьев, отчаянные сражения микробов, путешествия внутри человеческого тела и невообразимые вселенные, заключенные в атомах – проникновение в микромир издавна было заветной мечтой фантастов.

Книга классика американской литературы М. Твена «Три тысячи лет среди микробов» продолжает в серии «Polaris» публикацию забытых и редких произведений, объединенных общей темой «приключений в микромире». В книгу вошла фантастическая повесть «Три тысячи лет среди микробов» и фрагменты неоконченного романа «Великая тьма».

© Translators, 2014

© М. Fomenko, комментарии, 2014

© Salamandra P.V.V., оформление, 2014



ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СРЕДИ МИКРОБОВ

Жизнеописание микроба с примечаниями,
сделанными той же рукой семь тысяч лет спустя

Перевод с микробского Марка Твена

Предисловие

Произведение, предлагаемое вниманию читателя, — труд исторический, тем не менее я вполне полагаюсь на его достоверность. Каждая его страница — убедительное доказательство того, что автор добросовестно излагает голые факты, не приукрашивая их вымыслом. Такая манера изложения, возможно, утомляет читателя, но зато дает пищу уму, я испытываю удовлетворение при мысли, что просвещенная публика, давно пресыщенная фантазиями на исторические темы, не подкрепленными ни единым фактом, будет, наконец, вознаграждена. Из тысяч утверждений автора всего лишь два представляются спорными, и эти противоречивые утверждения (если их считать таковыми) вполне простительны, ибо обращает на себя внимание то, что автор сделал их с горечью и впоследствии раскаивался в своих словах. Если б не эти два недочета, весьма несущественные, разумеется, мне не пришлось бы просить читателя о снисхождении.

Переводчик

Я сохранил в переводе не только суть произведения, но и стиль автора. Сначала я исправлял и то, и другое, но потом отказался от этой затеи. Создавалось впечатление, будто я обрядил портового грузчика в смокинг и заставил его прочесть лекцию в колледже. Щегольской наряд сковывал его, безупречно правильный, изысканный английский язык в устах простолюдина звучал натянуто и неестественно, пожалуй — неприятно, холодно и безжизненно, я бы даже сказал — отдавал мертвечиной. И тогда я решил оставить автора в привычной для него одежде — рубашке и комбинезоне, — пусть лучше, по своему обыкновению, путается в словах. Пишет он неряшливо и многословно, все время отклоняясь от темы, с самодовольством, какого я досе-

ле не встречал, а его неграмотность может вызвать разрыв сердца. Ничего не поделаешь, принимайте его таким, какой он есть.

Переводчик

Титульный лист рукописи — неправильный.

В этом никто не виноват — несчастный случай.

I

Маг допустил ошибку в эксперименте — в те далекие времена было невозможно достать настоящие чистые реактивы — и в результате превратил меня не в птицу, как собирался, а в микроб холеры¹.

Примечание (семь тысяч лет спустя)

Я пробыл микробом три тысячи лет (микроболет), когда приступил к этой повести. Сначала я намеревался для экономии времени и сил зафиксировать ее на механическом мыслепhone, но потом раздумал: а вдруг захочется коснуться чего-то личного? Впрочем, хочешь не хочешь, это придется сделать, так не все ли равно — обнаружить свою тайну в печати, и дело с концом, или

¹ В первоначальном варианте вместо мага упоминалась Мери Беккер Эдди. Раздосадованная неким сомнительным заявлением рассказчика, она воспользовалась своей сверхъестественной силой и превратила его в микроб холеры (*Здесь и далее прим. перев.*).

доверить ее машине, которая раскроет ее любому негодяю, стоит ему повернуть ручку, — негодяю любой национальности, говорящему на любом языке? И я решил: напишу книгу на родном языке. Не так уж много суфласков² сможет ее прочесть, если она попадет им в руки; к тому же я начинаю забывать родной английский язык, и работа над книгой, несомненно, поможет мне освежить его в памяти. Б. б. Б.

II

Сначала я был недоволен своей судьбой, но это быстро прошло. Я заинтересовался тем, что меня окружало, мне захотелось поскорее все познать и освоиться в новой обстановке. По неведомым причинам я был прекрасно подготовлен к новому существованию — я сразу же прижился в новой среде, во мне заговорили инстинкты холерного микроба — его восприятие жизни, взгляды, идеалы, стремления, тщеславие, привязанности. Я так ревностно и страстно исповедовал идеи микробохолеризма, что превзошел в этом самих микробов холеры; уподобился нашим американским девушкам: не успеют выйти замуж за аристократа, как за неделю утрачивают демократизм, а за вторую — и американский акцент; я обожал весь микромир бацилл, бактерий, микробов, я отдал им весь жар своей души, — какой они могли вынести, разумеется; мой патриотизм был горячее их патриотизма, агрессивнее, бескомпромисснее, — короче говоря, я стал всем микробам микроб. Отсюда ясно, что я судил о микробах с их собственной точки зрения. В то же время я мог судить о них с человеческой точки зрения, и это обстоятельство вызывало ко мне особый интерес. И еще: я сохранил представление о человеческом исчислении времени, о человеческом периоде жизни и, вме-

² «Суфласк» — слово, придуманное Твенем. На «микробском» языке означает «микроб».

сте с тем, хорошо чувствовал микробское время, представлял себе их период жизни. В человеческом исчислении десять минут означало десять минут, а в микробском — год. В человеческом исчислении час означал час, а в микробском — шесть лет. В человеческом исчислении день означал день, в микробском — сто сорок четыре года. В человеческом исчислении неделя была неделей, в микробском — тысяча восемь лет. В человеческом исчислении год был год, в микробском — пятьдесят две тысячи четыреста шестнадцать лет. Пользуясь летосчислением микробов, я мог увидеть в колыбели нежное юное существо и проследить его судьбу до самой старости — секунду за секундой, минуту за минутой, час за часом; крошка расцветает, превращаясь в прелестную девушку, сочетается узами брака с боготворимым ею юношей; достойная мать семейства, она взирает с любовью на миллионы своих малышей, воспитывает в них честь и благородство, оплакивает миллионы деток, умерших в раннем возрасте, ликует на миллионах веселых свадеб своих более удачливых детей; вот и приближающаяся старость дает о себе знать дряхлостью и морщинами, и наконец ее, освобожденную от печали и бремени жизни, опускают на вечный покой в могилу, я благословляю ее и провожаю слезами прощания — все это за сто пятьдесят лет по микробскому времени и за двадцать четыре часа по человеческому.

Незадачливый маг ввел меня в кровь старой развалины — опустившегося плешивого бродяги. Зовут его Блитцовский³, если он не врет; его выслали в Америку на пароходе из Австро-Венгрии; Австро-Венгрия устала от него. Летом он бродяжничает и спит в поле, а зимой побирается в городах и ночует в тюрьме, если спать в канаве слишком холодно; он был трезв всего лишь раз в жизни, но не пом-

³ Судя по записным книжкам Твена, замысел повести возник у него в 1884 году, когда он читал гранки «Гекльберри Финна». Отсюда — некоторая переключка. Герой повести именует себя Геком, а Блитцовский, как и отец Гека, — бродяга.

нит, когда это случилось, он никогда не бреется, не моется, не расчесывает свалявшиеся патлы, торчащие вокруг плечи; Блитцовский — невероятный оборванец и грязнуля, он злобен и жесток, мстителен и вероломен, он родился вором и умрет вором, он — богохульник, каких свет не видывал; его тело — сточная труба, помойка, свалка гниющих костей; в нем кишмя кишат паразиты-микробы, созданные на радость человеку. Блитцовский — их мир, их земной шар, владыка их вселенной, ее сокровище, ее диво, ее шедевр. Они гордятся своей планетой, как земляне — своей. Когда во мне говорит дух холерного микроба, я тоже горжусь им, восторженно славлю его, готов отдать за него жизнь, но стоит человеческой природе взять верх, как я зажимаю нос. Я не могу уважительно относиться к этому кладбищу старого мяса.

Прошло уже около трех недель с тех пор, как я стал микробом. По микробскому времени — около трех тысяч лет. О, какие это были века! Века радости, успеха, нищеты, надежд, отчаяния; сколько торжества, горя и страданий я испытал за тягуче-медленное течение столетий! Миллиарды моих любимых и верных друзей покидали эту юдоль печали, чтоб не вернуться никогда. Какие мрачные и какие лучезарные дни я пережил!

III

Я стал микробом с головы до пят и сразу почувствовал себя как дома. И не удивительно — не так уж велика разница между человеком и микробом. В мире микробов, как и в человеческом, существует великое множество разных наций и языков. Микробы полагают, что человек, в котором они обитают, — единственный разумный мир. Для них это огромный и удивительный мир, они гордятся им, будто сами его создали. Очень жаль, что одинокий старый бродяга никогда не узнает об этом: ведь похвала для него — большая редкость.

IV

Наш мир (Блитцовский), огромный, величественный, вызывает у нас, микроскопических существ, благоговейный трепет, как Земля у человека. В нашем бродяге есть горы, океаны, озера величиной с море, много рек (вены и артерии), шириной в добрых пятнадцать миль, а что касается длины этих рек, то она непостижима — Миссисипи и Амазонка по сравнению с ними — ручейки на Род-Айленд. Малым же рекам несть числа, и количество грузов, подлежащих обложению налогами, — заразы, которую они переносят, ни одной американской таможне и не снилось.

А почему бы нашему бродяге и не казаться величественным крошечным существам? Только представьте себе, какой жалкой пылинкой казался бы человек рядом с вертикально поставленным Американским континентом! Стоя на выпуклой нижней оконечности, большом пальце ноги континента — мысе Горн, человек, естественно, поднял бы глаза к небу; и какую же часть устремленного ввысь, скрытого дымкой колосса он охватил бы своим взором? От ступни до середины колена? Ничуть не бывало! Он не увидел бы и его десятой части! Колосс расплывался бы у него перед глазами и таял в небесах. С таким же успехом можно поставить одного из нас, микробов, на ноготь большого пальца ноги Блитцовского и сказать: «Глянь-ка вверх!» Результат будет тот же.

На нашей планете свыше тысячи республик, а что до монархий, так их тысяч тридцать. История некоторых монархий восходит к глубокой древности. Пусть не к моменту рождения Блитцовского (человеческое дитя появляется на свет чистым, не зараженным микробами, и это состояние продолжается три-четыре часа, то есть восемнадцать— двадцать лет по микробскому исчислению времени), но они ведут свое начало от первых микробных инвазий и нашествий; монархии, вопреки всем новейшим веяниям, берегут неограниченную королевскую власть как зеницу ока с тех давних пор и поныне, что охватывает период примерно в

четыре с половиной миллиона лет. В одной из монархий династия, пришедшая к власти двести пятьдесят тысяч лет тому назад, удерживает власть и поныне. Это — династия Гной (Гной — их фамилия, вроде царской фамилии Романовы), а полный титул монарха — Его Августейшее Величество Генрих Д. Г. Стафилококкус Пиогенус Ауреус. Он стодевятитысячный монарх династии Гной, сидящий на троне. Все монархи этой династии носили имя Генрих. Латынь — Д. Г. (*Deus gratias*) означает «милостью божьей». Длинное слово Стафилококкус означает «резервуар гноя». Пиогенус в научном тексте переводится как «главный», в политическом — «Верховный», а в просторечии означает «свой парень», «молодчина» и выражает восхищение. «Aureus» означает «золотой». По протоколу в правительственных сообщениях титул читается следующим образом: «Генрих, милостью божьей верховный гнойный резервуар», простой же народ зовет его ласково — Генри золотой парень.

Нечто подобное мы наблюдаем в династии Reuss в Германии. Все принцы этой династии тоже звались Генрихами. Reuss — прекрасный старый королевский род, который, наряду с Гогенцоллернами, уходит корнями в глубокую древность, теряясь во мраке десяти тысячелетней давности.

Английская монархия существует примерно восемьсот сорок лет и насчитывает тридцать шесть царствований, каждое из которых длилось в среднем двадцать три года. Почти такую же картину мы наблюдаем и в мире микробов. По крайней мере, так обстоит дело в великой монархии, о которой я упоминал, — она превосходит все страны планеты Блитцовского и по населению, и по амбиции. За три тысячи лет, проведенных здесь, мне довелось сто двадцать один раз брести с непокрытой головой в хвосте пышной похоронной процессии, искренне оплакивая очередного монарха distinguished династии, а потом с высочайшего соизволения участвовать в празднествах в честь коронации его преемника. Этот суровый благородный королевский род, используя дипломатию и оружие, далеко продвинул границы своей державы. Каждый раз, лишая покоренную нацию свобод и религии, он навязывал ей взамен «нечто бо-

лее ценное». И совершенно справедливо утверждение, что эта великая династия одарила благами цивилизации больше стран, нежели любая другая, облеченная верховной властью. Прославляя ее замечательные свершения, многие народы микромира стали говорить, что Гной и цивилизация неразделимы.

Примечание (пять тысяч лет спустя)

Сами микробы величают себя суфласками. Издатели Полного толкового словаря наверняка прогорели бы, пытаясь исказить все значения этого слова своими дотошными определениями и заставить читателя до конца дней своих шарахаться от него, как от пугала. О, эта бесполезная, никчемная книга! Как она осторожна, хитра, ненадежна, эта конъюнктурная книга, эта отвратительная, бестолковая книга — Полный толковый словарь! Он преследует лишь одну цель — втиснуть в свой объем больше слов различных оттенков, чем у конкурента! В результате, когда ему удастся затуманить всем хорошо известное, нужное слово, оно отныне означает все вообще и ничего в частности. В бытность мою человеком мы, помнится, позаимствовали из другого языка слово «уникальный». Оно твердо и недвусмысленно значило «единственный в своем роде», «редкостный» — именно этот старший козырь в колоде, а не любой другой, один-единственный образец того, на что ссылался человек. Но потом этим словом завладел Толковый словарь и за волосы притянул к нему все значения, которые позаимствовал у не бог весть каких грамотеев, и вот полюбуйте теперь на бывшую девственницу! Я, разумеется, тоже не всегда проявляю должную разборчивость, но мне не хотелось бы появиться в обществе с этой дамой легкого поведения.

А теперь о слове «суфлask». В буквальном переводе оно означает на планете Блитцовского то же, что слово «человек» — Главное Существо Творения — означает на Земле, а именно: Божья Отрада, Избранник, Изумительное существо, Великая Сумятица, Венец Творения, Старший полковой барабанщик, Глава процессии. Суфлask — все это, вместе взятое, включая оттенки. Мне чрезвычайно трудно подыскать английский эквивалент, который вместил бы в себя все упомянутые значения и не дал бы те-

чи, но я полагаю, что по смыслу больше всего подходит Громила Стекланный Глаз.

Я с самого начала величал так своих друзей-микробов, и это им очень нравилось. Отчасти потому, что слово красивое, иностранное, отчасти потому, что я намеренно смягчил перевод. Я объяснил микробам, что у меня на родине, в Главном Моляре⁴, этим словосочетанием пользуются талантливейшие поэты и оно означает «Радость Творца». Таким образом я ввел его в обиход в среде духовенства, поэтов, знаменитых ораторов и других достойнейших представителей нашего народа. Они произносили «Громила Стекланный Глаз» со странным, но приятным акцентом; слова эти звучали томно и зазывно в проповеди священника, отдавались раскатами грома и шелестом дождя в речи блестящего оратора, приобрели неслыханную популярность. Но услышав сочетание «Громила Стекланный Глаз» впервые с кафедры, я очень растерялся и едва справился с волнением.

Я часто употреблял и слово «микроб», называя так себя и других, и не находил в этом ничего обидного. Если б я раскрыл истинное значение этого слова — жалкое, снисходительное, микроскопическое, — мне бы не миновать беды, но я проявил благоразумие и тем самым спас себя. Я сказал, что в Главном Моляре так называют «То самое существо с Нравственным Чувством» и это всего лишь сухой научный термин для описания Верховного Владыки Живой Природы. Порой пустая болтовня ценится выше фактов и оплачивается лучше. «То самое» озадачило, ошеломило, сразило их наповал. Я знал, что так оно и будет. Даже словечко «тот» очень высоко ценится и человеком, и микробом, а уже «тот самый» — такая приманка, против которой никто не устоит. Я привык рисковать, а привычка — вторая натура, вот я и подшутил над ними, одарив их этим расчудесным титулом. И они, естественно, вели себя так, как и самый честный из нас в минуту растерянности, — взирали на меня с умным видом, без тени удивления, будто им все давно известно. Конечно же они решили, что я почерпнул это сокровище из глубочайшего кладезя премудрости у себя, в Главном Моляре. Если это так, они ни за что не выдадут своего невежества вопросом. Они даже не рискнут спросить, принято ли в Главном Моляре доверять премудрость кладезям.

⁴ Моляр — коренной зуб.

Я не ошибся, потому что наперед знал тайный обычай людей и микробов: они не задают вопросов. По крайней мере, публично. Но один из них все же задал мне вопрос с глаза на глаз. Микроб заявил, что хотел бы побеседовать со мной по душам, называя вещи своими именами, и надеется, что наша беседа останется строго конфиденциальной.

— Я буду откровенен, — сказал он, — и прошу вас ответить мне тем же. Вы, вероятно, полагаете, что понятие «То самое существо с Нравственным Чувством» не ново для нас, но вы ошибаетесь. Спокойствие, с которым были восприняты ваши слова, — обман, мы никогда не слышали ничего подобного. Теперь это выражение стало банальным — его произносят умильно, им кичатся в равной степени и ученые, и невежды. Так что...

— Дорогой сэр, — прервал я его с некоторым самодовольством, — я отнюдь не заблуждался на этот счет, я и сам немного притворялся. Мне ясно, что идея, будто Нравственное Чувство свойственно лишь Громиле Стеклянному Глазу, — нова для вас и...

— Господь с вами, — воскликнул он, — эта идея вовсе не нова.

— А-а-а, — протянул я несколько обескураженно. — Так что же тогда ново?

— Как что? Тот смысл, что вы вложили в слова «То самое». Нас потрясло, что вы особо выделили эти слова, то, как вы их произнесли. Они вдруг прозвучали как высокое звание, как почетный титул. Новизна в том и заключается, что вы употребили эти слова в похвальном значении. Мы никогда не сомневались, что Нравственное Чувство принадлежит лишь высшим животным. Помогите мне разобраться в другом. Мы считаем, что Нравственное Чувство учит нас отличать добро от зла. В Главном Моляре придерживаются того же мнения?

— Да.

— К тому же Нравственное Чувство помогает нам выяснить, что есть добро, и творить добро.

— Вы правы.

— Больше того — лишённые Нравственного Чувства, мы не могли бы постичь, что есть зло, и не могли бы творить зло. Понятия «зло» вообще бы не существовало. Все, что мы делаем, считалось бы добром — совсем как у низших животных?

— Согласен и с этим утверждением.

— Из всего сказанного следует, что назначение Нравственного Чувства — творить зло, ибо без него любой наш поступок расценивался бы как добро.

— Согласен.

— Значит, Нравственное Чувство помогает распознать зло и вдохновляет нас творить зло?

— Правильно.

— Следовательно, особая функция Нравственного Чувства — внушение, подстрекательство и распространение зла?

— А также добра, дорогой сэр, извольте признать и это.

— Прощу прощения, но добро мы могли бы творить и без Нравственного Чувства, чего не скажешь о зле.

— Истинно так. Но, дорогой сэр, способность творить зло — большая привилегия, она ставит нас на очень высокую ступень по сравнению с прочими животными. Вы не согласны с тем, что это — очень большое отличие?

— Да, как между настоящими и игрушечными часами.

Он ушел, сильно раздраженный. Но с моей легкой руки сочетание «То самое» вошло в употребление и укоренилось в языке. С тех пор все микробы с презрением смотрят на низших животных, неспособных творить зло, и с самодовольством — на самих себя, потому что они на это способны. Мир микробов — мой мир, и, как истинный патриот, я восхищаюсь своими соотечественниками и горжусь ими, но, когда они начинают рассуждать, их логика ничуть не уступает в смехотворности человеческой. *Б. б. Б.*

Примечание (еще две тысячи лет спустя)

Предыдущее примечание было ошибочным. Тогда я еще не продумал этот вопрос как следует. Теперь я прекрасно сознаю, что Нравственное Чувство — ценный, точнее, неоценимый дар. Без него мы не стали бы тем, кем мы стали. Жизнь была бы тоскливой и состояла бы лишь из еды и сна — ни возвышенных помыслов, ни благородных целей; без Нравственного Чувства не существовало бы ни миссионеров, ни государственных деятелей, ни тюрем, ни преступников, не было бы ни солдат, ни тронов, ни рабов, ни убийц — одним словом, не было бы цивилизации. Цивилизация не может существовать без Нравственного Чувства. *Б. б. Б.*

Мне часто доводилось бывать на приемах у императоров Генриленда. Порой они даже снисходили до беседы со мной. Такой чести не удостоивался ни один иностранец моего ранга за весь огромный промежуток времени, что занимает трон нынешняя династия. За все предшествующие века иностранец удостоился такой милости лишь однажды. Это событие произошло почти три миллиона лет тому назад. В память о нем воздвигли монумент. Он обновляется каждые пятьсот лет за счет добровольных пожертвований, взимаемых государством. Так повелел император, живший в те незапамятные времена и отличавшийся благородством и великодушием. Я очень горжусь тем, что этой высокой чести удостоился один из моих соплеменников — микроб холеры. Помимо этого факта о нем ничего не известно, разве только то, что он был иностранец. История умалчивает, из какой страны Блитцовского он был родом и за что был так обласкан императором.

Местные жители не испытывают ненависти к иностранцам, я бы сказал, что они не чувствуют к ним даже неприязни. Отношение к иностранцам здесь вполне терпимое — вежливое, но безразличное. Сами того не сознавая, местные жители смотрят на них сверху вниз. Всюду под небом Блитцовского иностранцы считаются существами низшего порядка. Редким исключением является самая большая республика — Скоробогатия. Там любая захудалая знаменитость, прибывшая из-за рубежа, считается на голову выше первоклассной местной знаменитости; иностранец везде встречает столько восторженных поклонников, что диву дается, шампанским его угощают чаще, чем пивом в родных краях.

В монархиях Блитцовского все наоборот — там первоклассная знаменитость из Скоробогатии приравнивается к захудалой местной. Но знаменитость из Скоробогатии с удовольствием променяет славу у себя на родине на грошовой успех за границей.

Как я уже сказал, иностранец считается существом низшего порядка повсюду, кроме могучей республики Ско-

робогатии, снискавшей всемирную известность величайшей из демократий. Она занимает огромную территорию. Ее флаг реет над всем желудком Блитцовского — самой богатой, промышленно развитой территорией, обладающей к тому же самыми разнообразными материальными ресурсами в мире микробов. Республика Скоробогатия — одна из двух-трех значительных торговых центров планеты. Товарооборот Скоробогатии — внутренний и внешний — достиг колоссальных масштабов. В стране — прекрасно развитая транспортная система. Это делает республику распределительным центром всемирного значения. По валовому продукту Скоробогатия превосходит все страны планеты Блитцовского. Она импортирует сырье с севера, а ее суда экспортируют продукты производства во все великие державы юга. Веками Скоробогатия демонстрировала свой эгоцентризм, проявляя заботу лишь о довольстве и процветании собственного народа и категорически отказываясь предоставить помощь нуждающимся малым странам в отдаленных частях Блитцовского. Лучшие люди страны стыдились этой политики. Они видели, как великая Сердечно-Сосудия посылает живительную кровь своей добросердечной цивилизации темным отсталым народам, погрязшим в порочной лени и восточной роскоши на окраинах планеты, не требуя взамен ничего, кроме безоговорочного подчинения и национального богатства; они видели, как империя Генриленд, расположенная далеко на пустынном севере, неуклонно и последовательно расширяет свои владения вниз по равнинной Плечевой Области до возвышенности на дальнем юге, именуемой поэтами и путешественниками Великими Холмами, и одаривает всех на своем пути счастьем и гноем, ничего не требуя взамен от облагодетельствованных ею народов, кроме того, что у них есть; лучшие люди Скоробогатии видели все это и краснели от стыда за свою страну.

Движимые стыдом, они восстали против эгоцентризма внешней политики правительства Скоробогатии, дали ей бой на выборах, заменив более высокой и благородной, ко-

торую стали именовать «великодушной ассимиляцией»⁵. Это было эпохальное достижение. Скоробогатия вышла из своей эгоистической изоляции, заняв подобающее положение среди Великих Пиратских Держав. Это произошло совсем недавно – каких-нибудь триста пятьдесят лет тому назад.

Очень далеко, посреди необозримых просторов Великого Уединенного моря затерялась группа островов, населенных безобидными бациллами. Ими кормятся неистовые *hispaniola sataniensis*, чья миссия — распространять болезнь в человеческом *trigonum*⁶. Этот архипелаг был великодушно ассимилирован могущественной республикой. Сначала земли хитроумно отторгли у владельцев с помощью самих владельцев, ничего об этом не подозревавших, потом земли скупили за большую цену у разгромленных и выдворенных за пределы страны иностранных завоевателей. Эта акция придала титулу Пиратская держава совершенство и даже элегантность. В добавление ко всем прочим знакам отличия, принятым на планете Блитцовского, она позволила Скоробогатии отныне именоваться Великой Державой. Новая Великая Держава на самом деле была не больше, чем раньше; присоединение к ее владениям нескольких кучек песка выглядело как присоединение колонии луговых собачек⁷ к горной цепи. Но видимость расширения владений была так велика, что появились поня-

⁵ Намек на исход испано-американской войны. В ходе войны США захватили Пуэрто-Рико, о. Гуам, Филиппины, оккупировали Кубу, формально объявленную независимой.

⁶ «*Hispaniola sataniensis*» — «Испанских сатанинских» микробов в природе не существует. Использовать «ученую» латынь — излюбленный пародийный прием М. Твена. Видимость достоверности его выдумке придает соседство с анатомическим термином. «*Trigonum*» — нижняя часть мочевого пузыря.

⁷ Луговые собачки — грызуны семейства беличьих.

тия «до» и «после», как с парижским привязным аэростатом; когда оболочка аэростата плоско лежит на земле, проходящий ее не замечает, но тот же аэростат, поднявшийся высоко в воздух, — шарообразный, огромный, наполненный газом, — вызывает удивление и восхищение изумленного мира.

Бациллы-аборигены крошечного архипелага принадлежат к тому виду, который ученый-блितцовчанин назвал бы «неболезнетворным». Они не возбуждают болезней. Это на редкость маленькие существа. Я видел несколько таких бацилл. Они не более пяти футов, разумеется, если смотреть на них глазами микроба. Человек видит обычную бациллу при увеличении в 100-120 раз, но разглядеть аборигенов с островов Великого Уединенного моря позволит лишь значительно более сильный микроскоп. Миллион бацилл на кусочке стекла — всего лишь пятнышко для невооруженного человеческого глаза, и я сомневаюсь, что он вообще заметит маленьких островитян. Они крошечные, как их архипелаг, но, послушав разговоры о присоединении архипелага к республике Скоробогатии, можно было подумать, что она аннексировала четыре кометы, да еще созвездие в придачу.

Первый император, которого мне выпала честь лицезреть, был Генрих Великий. Не первый носитель этого имени, нет, мой государь был восемьсот шестьдесят первым Генрихом Великим. По закону и по обычаю его именовали *Seiner Kaiserliche durchlaustigstehochbegabtergottallmächtiger* Восемьсот Шестьдесят Первый *des Grosser*⁸. Звучит по-немецки, но это отнюдь не немецкий язык. Многие из восьмисот шестидесяти Генрихов Великих заслужили этот завидный титул, произведя на свет наследников, когда в них ощущался дефицит; некоторые получили его за руководство военными действиями и прочими формами резни и кровопролития, кое-кто — за блестящие достижения по линии

⁸ Иронический титул, пародирует длину немецких составных слов.

«великодушной ассимиляции», за то, что продавались, точно шлюхи, церкви, за то, что одаривали аристократов государственными землями и деньгами из государственной казны, назначали им огромные пенсии, остальные получили этот титул за то, что с умным видом помалкивали, отдавая должное великим достижениям своих министров иностранных дел и не вмешивались в эти дела. Последних благодарная нация причисляет к героям, память о которых бессмертна. В их честь воздвигаются монументы. Воздвигаются народом на добровольные пожертвования — истинно добродетельные деяния. И когда памятники со временем разрушаются, народ восстанавливает их снова.

Как я уже отметил, мой Генрих Великий был восемьсот шестьдесят первым по счету. Три тысячи лет тому назад, когда я впервые появился в мире микробов, мне выпала неслыханная честь предстать перед императором, событие почти невероятное, ведь я был иностранец и к тому же неблагородного происхождения. Мой септ⁹ — микробы холеры — принадлежит к болезнетворным микробам, поэтому знать часто ведет происхождение из их числа, но сам я не знатный и даже не был принят в высшем свете. Когда мне приказали явиться ко двору, это вызвало сенсацию.

А поводом для приглашения явилось следующее. Некогда при загадочных обстоятельствах яйцо американской блохи попало в кровь Блитцовского, и появившаяся на свет блоха затонула. Ее останки превратились в окаменелость¹⁰. Это произошло почти четыре миллиона лет тому назад,

⁹ Септ (зд.) — племя, клан.

¹⁰ М. Твен собирался поподробнее остановиться на этой теме. Он и раньше обуздывал увлечение своих соотечественников «чудесами» (*Окаменелый человек*), а теперь намеревался высмеять стремление «ученых мужей» теоретизировать, опираясь на ничтожное количество фактов. Герой упоминает об окаменелых бронтозаврах, открытых в Вайоминге: «теперь мне и не верится, что мы считали бронтозавра доадамовой коровой».

когда бродяга был мальчишкой. В бытность свою человеком я занимался наукой и остался ученым в душе и после того, как меня превратили в микроба.

Палеонтология — моя страсть. Вскоре после появления на Блитцовском я занялся поиском окаменелостей. Обнаружил несколько окаменелых останков, и эта удача сделала меня членом научного общества. Пусть общество было скромное, малоизвестное, но в сердцах его членов горела та же страстная любовь к науке, что и в моем собственном.

Примечание (семь тысяч лет спустя)

Многое стерлось из памяти за семь тысяч лет, прошедших с тех пор, но я все еще помню самые незначительные происшествия, связанные с моим вступлением в это славное братство. Как-то мы устроили пирушку — очень скромную, разумеется, потому что все мы были бедны и зарабатывали на жизнь каким-нибудь нехитрым ремеслом. Пирушка удалась на славу. Я не преувеличиваю, потому что в те времена мы чаще голодали, чем пировали. Угощали нас красными и белыми кровяными тельцами. Из них приготовили шесть разных блюд — от супа и рост-бифа с кровью до пирога. Красные были с душиком, но Том Нэш¹¹ рассмешил нас, остроумно заметив: «Зато и от цен не захватывает дух». Что он сказал дальше, я позабыл, но до сих пор считаю — это была самая остроумная шутка, которую я когда-либо слышал. И главное — он сострил так небрежно, не задумываясь, будто походя бросил какую-то незначущую фразу. Том... А может быть, не Том? Пожалуй, сострил Сэм Боуэн, или Джон Гарт, или Эд Стивенс — во всяком случае, кто-то из них, уж это я помню наверняка. Да, памятное было событие для таких молодых ребят, как мы. Нам и в голову не приходило, что мы творим историю! Мог ли я предвидеть, что о нашей скромной пирушке сложат песню, что она навеки сохранится в предании, что о ней напишут в школьном учебнике и в беспристрастной хронике! Мог

¹¹ М. Твен дал приятелям рассказчика имена друзей своего детства, живших в Ганнибале.

ли я предвидеть, что случайно брошенные мною слова народ сохранит, как сокровище, и будет благоговейно повторять их до тех пор, пока последний микроб, упав замертво, не приложится к народу своему. Пожалуй, самой удачной частью моей речи на этой пирушке было заключение. Отдавая дань восхищения истинным аристократам науки и ее энтузиастам, я сказал:

— Джентльмены, в своем труде... в своем труде... Ладно, это я проверю в какомнибудь издании Всемирной истории. А, впрочем, вспомнил! Джентльмены, в научной лаборатории нет места ни надутым титулованным особам, ни новоиспеченной знати. Наука — республика, и все ее граждане — равноправные братья, ее принцы Монако, ее «каменщики» Кромарти¹², равнодушные к рукотворным наградам и прочей мишуре, все, как один, на выс-чайшем уровне!

Разумеется, мои приятели не поняли, на что я ссылаясь, а я не стал утруждать себя объяснениями, но все равно — концовка прозвучала великолепно. Мое красноречие привело их в восторг. Дар слова — вот главное, а отнюдь не содержание речи Б. б. Б.

Я не тосковал по утраченной Америке. Я был счастлив среди друзей, поклонников, помощников.

В те дни, с какой стороны ни посмотри, я был устроен в жизни на зависть хорошо. Жил в сельской местности, в сонной деревушке неподалеку от столицы, соседями моими были бесхитростные крестьяне, чьи странные обычаи и еще более странный говор я с удовольствием изучал. В самой деревушке и в ее окрестностях жили миллиарды крестьян, но казалось, что их не так уж много и живут они очень разбросанно, потому что у микробов миллиард — су-щая чепуха. Места здесь были чрезвычайно красивые, кли-мат здоровый, куда ни глянь — перед тобой уходящие вдаль и скрывающиеся в дымке зеленые луга, пересечен-ные прозрачными реками, сады и леса, наполненные зво-ном птичьих голосов, они простираются до самых уступов величественных гор, чьи суровые очертания изломанной

¹² ...«каменщики» Кромарти — очевидно, речь идет о масонах «шот-ландского обряда», наиболее могущественного ордена масонов.

линией вырисовываются на горизонте, — ясная, умиротворяющая панорама, всегда безоблачная и светлая, ибо на планете Блитцовского не бывает ночи. То, что для человеческого глаза — крошечная тьма, для микроба — полдень, волшебный, нежный, великолепный полдень. Миссия микроба сурова и безотлагательна, он редко спит, пока с годами его не одолеет усталость.

А какой видится здешняя неприступная скала человеку? Для него она меньше бородавки. А здешние прозрачные сверкающие реки? Нити паутины, крошечные капилляры, которые можно рассмотреть только под микроскопом. А здешнее бездонное беспредельное небо — обитель грез? Для подслеповатых человеческих глаз оно просто не существует. Для моего острого совершенного зрения весь этот необъятный простор полон жизни и энергичного движения, непрерывного движения. Ведь я вижу не только молекулы, составляющие все вокруг, но и атомы, составляющие молекулы, а человеческий глаз не различает их даже при помощи самого сильного микроскопа. Для человека атомы существуют лишь теоретически, он не может проверить факт их существования опытом. Но поразительный аппарат — человеческий мозг — измерил невидимую молекулу, измерил точно, подсчитал многочисленные составляющие ее электроны и подсчитал их правильно, не видя ни единого, — непостижимый успех!

Возьмем, к примеру, такого человека, как сэр Оливер Лодж¹³. Разве какая-нибудь тайна природы укроется от не-го? Он заявляет: «Миллиард — тысяча миллионов атомов — это поистине колоссальное число, и все же такая совокупность атомов едва различима под самым сильным микроскопом; самая крошечная крупинка или гранула, которую можно разглядеть невооруженным глазом, подобно ликоподиевой пылинке, должна быть в миллион раз больше».

¹³ Лодж Оливер (1851-1940) — английский физик.

Лишь тогда человеческий глаз различит ее, эту крошечную частицу. Глазами микроба я могу увидеть каждый из миллиарда вращающихся атомов, составляющих пылинку. Ничто не пребывает в покое — ни дерево, ни железо, ни вода; все движется, неистовствует, вращается, летит — днем и ночью, ночью и днем, неподвижности не существует, смерти не существует, все полно жизни — торжествующей, всеобъемлющей жизни, даже кости крестоносца, павшего под Иерусалимом восемь столетий тому назад. Понятия «растительный» не существует, все вокруг животного происхождения; каждый электрон — это животное, каждая молекула — это стадо животных, и каждый из них имеет свое предназначение и душу, которую нужно спасти. Ведь рай создан не только для человека, и все остальные божьи твари вовсе не должны пребывать в забвении. Бог дал каждому из них свое скромное предназначение, они выполнили его и не будут забыты, каждый будет вознагражден по заслугам. Человек, этот тщеславный спесивый пустослов, думает, что он будет жить в раю среди себе подобных. Его ждет разочарование. Пусть научится смирению. Если б он не давал кров и хлеб насущный презренным микробам и вечно гонимым бациллам, его незачем было бы сотворять. Это и есть его миссия, смысл его существования, так пусть делает свое дело и помалкивает.

Три недели тому назад я и сам был человеком, думал и чувствовал, как человек. Но с тех пор прошло три тысячи лет, и я понял всю глупость человеческого существования. Мы живем, чтобы учиться, и счастлив мудрец, умеющий извлечь из учения пользу.

V

В своих микроскопических исследованиях мы имеем несомненное преимущество перед земными учеными. Как я уже указывал, мы видим невооруженным глазом то, что

не обнаружит ни один созданный человеком микроскоп, поэтому мы можем получить фактические данные о явлениях, лишь теоретически известных земным ученым. И, разумеется, мы располагаем фактическими данными о некоторых явлениях, не известных на Земле даже теоретически. К примеру, на Земле не подозревают о том, что не существует иных форм жизни, кроме животной, что все атомы — животные, каждый из которых наделен в большей или в меньшей степени разумом, своими симпатиями и антипатиями, доброжелательностью или враждебностью — одним словом, каждый атом имеет характер, свой собственный характер. А дело обстоит именно так. Некоторые молекулы камня испытывают отвращение к молекулам какого-нибудь растения или другого существа и ни за что не хотят вступать с ними в связь. Но если бы они и захотели, им бы это не позволили. Никто так не привередничает, выбирая окружение, как молекула. На молекулярном уровне кастам нет числа, даже Индия не идет с ними ни в какое сравнение.

Я часто вспоминаю разговор, который имел по этому поводу с одним из своих приятелей, известным ученым по имени Бблбгксуи; чтобы не сломать язык, я называл его просто Бенджамин Франклин — звучит похоже, во всяком случае, когда имя приятеля произносит иностранец, оно звучит почти как «Франклин», если не как «Смит». Я уже сказал, что мы с ним обсуждали эти вопросы, и я до сих пор помню его отдельные замечания, хотя многое улетучилось из памяти. Впрочем, это не имеет значения: в свое время я записал весь разговор и привожу запись из дневника.

Запись из дневника

Франклин — микроб желтой лихорадки, но говорит на ломаном, дьявольски безграмотном щитовидно-дифтеритном диалекте, который я понимаю с трудом из-за его убий-

ственного акцента. О, если б он знал латынь, но, к сожалению, он ее не знает. Просто поразительно, эти бациллы признают только свой язык и не учат иностранных. А впрочем, ничего странного тут нет: на планете Блитцовского столько иностранных языков, что и не знаешь, с какого начать. А у меня особый талант к иностранным языкам, я люблю их изучать. Трата времени для меня не проблема. Мне ничего не стоит изучить шесть иностранных языков за час (по микробскому времени, разумеется, черт бы побрал эту путаницу во времени!).

Должен признаться, у меня уже голова трещит от этих пересчетов. Когда речь идет о координатах микробского времени, мне все ясно, потому что я уже несколько столетий живу по микробскому времени; некогда привычное мне человеческое время перестало быть привычным, я уже не могу спокойно и уверенно обращаться с единицами этого времени, когда хочу найти для них соответствующий микробский эквивалент. Это естественно. С незапамятных времен микробское время было для меня реальностью, а человеческое — грезой; одно было настоящим и ярким, другое — далеким и туманным, расплывающимся, призрачным, лишенным сути. Иногда я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить лица, столь дорогие мне в бытность мою человеком в Америке. Как они безмерно далеки, отделенные от меня бездной времени, — смутные иллюзорные тени, плывущие в мареве мечты. Все, все, что осталось там, — мираж.

Когда я начал это маленькое повествование полторы секунды тому назад, мне все время приходилось прерывать работу и копаться в памяти, отыскивая там полузабытые человеческие единицы измерения времени, которыми я не пользовался, про которые не вспоминал целую вечность! Это было так трудно, я так часто ошибался и злился на себя, что ради спокойствия души и точности повествования бросил писать и разработал таблицу перевода микробского времени в человеческое, чтобы отныне руководствоваться лишь ею. Привожу эту таблицу.

Эквиваленты времени

Человеческое (приблизительно) — Микробское

1/4 сек.	равняется	3 ч.
1/2 сек.	—	6 ч.
1 сек.	—	12 ч.
2 сек.	—	24 ч.
15 сек.	—	1 неделя
30 сек.	—	2 недели
60 сек.	—	1 месяц
10 мин.	—	1 год
1 ч.	—	6 лет
1 день	—	144 года
1 неделя	—	1008 лет
1 год	—	52416 лет

Пауза для комментария Дневник откладываю в сторону

Перевод времени в секундах и минутах в таблице неточен. Месяц у микробов продолжается дольше шестидесяти секунд по человеческому времени, он равен одной минуте двенадцати секундам. Я пользуюсь приблизительной величиной, потому что так удобнее в повседневной жизни. Я пытался подыскать эквивалент человеческого времени для одного микробского часа, но он сокращался, убывал, таял на глазах и наконец вовсе исчез прямо из-под пера, не оставив и следа.

В приближении, доступном моему пониманию, микробский час равен одной пятидесятой человеческой секунды. Положим, что так оно и есть. В свое время я считался лучшим математиком Йельского университета, да я и сейчас слышу лучшим математиком на планете Блитцовского, специалистом по микробской математике, но в человеческой

математике я теперь профан. Пытался вновь овладеть полузабытым искусством, но память подводит. В те далекие дни в Йельском университете я знал математику в совершенстве, недаром меня называли королем математиков. И это было справедливо — люди приезжали издалека, чтобы посмотреть, как я вычисляю время затмения на Венере. Для меня не составляло никакого труда произвести в уме двенадцать вычислений одновременно. Тогда-то я и изобрел логарифмы, а теперь вот сомневаюсь, как правильно написать это слово, не то чтобы решать логарифмические уравнения, — тут меня любой второкурсник заткнет за пояс.

Это были замечательные дни, замечательные. И они никогда не вернуться. В этой скоротечной жизни все проходит, ничто не вечно. Я почти совсем забыл человеческую таблицу умножения. Семь с лишним тысяч лет тому назад я еще помнил, что девятью четыре будет сорок два и так далее. Но какое это имеет значение? Когда я закончу свой труд, таблица умножения мне больше не понадобится. А если сейчас потребуется сделать какие-нибудь вычисления, можно воспользоваться и местной таблицей умножения, а потом перевести ее в человеческую. А впрочем, местная таблица вряд ли подойдет, в мире микробов все так мало по сравнению с земным. И «девятью четыре» в микробском измерении вряд ли означает по-английски что-нибудь заслуживающее внимания. В такую мелочь трудно вложить смысл, понятный читателю.

А теперь, когда с исчислением времени все ясно и нет больше досадной путаницы и неразберихи с его пересчетом, возвращаюсь к разговору с Франклином.

Дневник (продолжение)

— Франклин, вы согласны с тем, что все сущее состоит из индивидов, наделенных сознанием, к примеру, каждое растение? — спросил я.

— Согласен, — ответил он.

— И каждая молекула, составляющая это растение, — индивид и обладает сознанием?

— Разумеется.

— И каждый атом, входящий в состав молекулы, — индивид и обладает сознанием?

— Да.

— В таком случае, имеет ли растение в целом — дерево, например, чувства и симпатии, присущие именно дереву?

— Конечно.

— Как они возникают?

— Из совокупности чувств и симпатий, которыми наделена каждая молекула, составляющая дерево. Эти чувства и симпатии — душа дерева. Благодаря им дерево чувствует себя деревом, а не камнем и не лошастью.

— А бывают ли чувства, общие и для камней, и для лошадей, и для деревьев?

— Да, чувства, вызываемые действием кислорода, в большей или меньшей степени свойственны всем трем. Если бы химические соединения, из которых состоит камень, были бы такие же, как у дерева, и в тех же пропорциях, камень не был бы камнем. Он был бы деревом.

— Я тоже так считаю. А теперь скажите — кислород входит в состав почти всего живого, интересно, сообщает ли кислород организму какое-нибудь особое чувство, которое ему не способна передать ни одна другая молекула?

— Разумеется. Кислород — это темперамент, единственный источник темперамента. Там, где мало кислорода, темперамент дремлет, там, где его больше, темперамент проявляется ярче, а там, где его еще больше, разгораются страсти и с каждой добавкой — все сильнее. Если же кислород нагнетается и нагнетается в пламя, распалая темперамент, бушует пожар. Вы замечали, что некоторые растения держатся очень спокойно и миролюбиво?

— Да, замечал.

— Это все потому, что в них мало кислорода. Бывают растения, в которых кислорода много. Встречаются и таие, в которых кислорода больше, чем всего прочего. И вот результат: у розы очень мягкий характер, у крапивы — вспыль-

чивый, а у хрена — просто необузданный. Или взять бацилл. Некоторые из них чересчур мягкосердечны; это из-за нехватки кислорода. Зато микробы туберкулеза и тифа накачались кислородом по уши. Я и сам горяч, но, к чести моей будет сказано, не веду себя, как эти разбойники, и даже будучи вне себя от гнева, помню, что я джентльмен.

Любопытные мы создания! Порою я спрашиваю себя: найдется ли среди нас хоть один, кому чужд самообман? Франклин верил в то, что говорил, он был вполне чистосердечен. Однако всякий знает — стоит микробу желтой лихорадки разгорячиться, он один заменит целую толпу разбойников. Франклин ждал, что я признаю его за святого, и у меня хватило бы благоразумия это сделать, чтоб он меня, чего доброго, не изувечил. Спорить с ним — значило лезть на рожон: любое замечание могло, как искра, воспламенить его кислород.

— Скажите, Франклин, и океан тоже индивид, животное, живая особь? — спросил я немного погодя.

— Конечно, — ответил он.

— Следовательно, вода — любая вода — индивид?

— Несомненно.

— Положим, вы взяли каплю воды из океана. То, что осталось, индивид?

— Разумеется, и капля — тоже.

— Теперь допустим, что каплю поделили на две части.

— В таком случае мы имеем два индивида.

— А если разделить кислород и водород?

— Тогда мы получаем два индивида, но воды больше не существует.

— Ясно. А если соединить их снова, но другим способом, в равной пропорции — одна часть кислорода на одну часть водорода?

— Но вы сами знаете, что это невозможно. В равной пропорции они не соединяются.

Мне стало стыдно: допустить такую грубую ошибку! Пытаясь скрыть неловкость, я пробормотал, что у меня на родине подобные соединения получали. Я решил стоять на своем.

— Что же выходит? Вода — индивид, живая особь, наделенная сознанием; удаляем водород, и он тоже — индивид, живая особь, наделенная сознанием. Вывод: два индивида, соединяясь, образуют третий, но тем не менее каждый из них остается индивидом.

Я посмотрел на Франклина и умолк. Я бы мог обратить его внимание на то, как сама безгласная природа открывает великую тайну Троицы, понять ее может даже самый заурядный ум, а тьма ученых краснобаев безуспешно пытается объяснить ее словами. Но Франклин просто не понял бы, о чем идет речь. Поколебавшись мгновение, я продолжал:

— Выслушайте меня и скажите, прав ли я. К примеру, все атомы, составляющие молекулу кислорода, — самостоятельные индивиды, и каждый из них является живой особью; в каждой капле воды — миллионы живых существ, и каждая капля сама по себе — индивид и живое существо, как и огромный океан. Так?

— Да, именно так.

— Черт подери, вот это здорово!

Франклину очень понравилось мое выражение, и он тут же занес его в блокнот.

— Итак, Франклин, мы все разложили по полочкам. Но подумать только, ведь существуют живые особи еще меньше атома водорода, а он так мал, что в одной молекуле их — пять тысяч. Да и молекула такая крошечная, что, попади она микробу в глаз, он и не заметит.

— Да, крошечные существа селятся в теле микроба, питаются им, заражают его болезнями. И зачем только их произвели на свет? Они терзают нас, делают нашу жизнь невыносимой, убивают микробов. Зачем все это? В чем здесь высшая мудрость? Ах, друг мой, Бксхп, в каком странном, непостижимом мире мы живем! Рождение окутано тайной, короткая жизнь — тайна и страдание, а потом — уход, уход навсегда. И всюду — тайна, тайна, тайна. Мы не знаем, как мы появились и зачем, не знаем, куда уходим и зачем. Мы знаем лишь, что созданы не напрасно, а с мудрой целью, и что все к лучшему в этом лучшем из миров! Мы знаем, что

нам воздастся за все страдания, что нас не бросят на произвол судьбы. Так наберемся же терпения, перестанем роптать, преисполнимся веры. Самый ничтожный из нас не обделен любовью, верьте мне — эта быстротечная жизнь еще не конец!

Вы заметили? Он даже не догадывался о том, что и сам грызет, терзает, заражает, разлагает, убивает кого-то — он сам и несметное число его сородичей. И ни один из них об этом не подозревает, вот что интересно. Все наводит на мысль неотвязную, неотступную: а что, если процессия известных и упомянутых мучителей и кровопийц на этом не кончается? Тогда возникает предположение и даже уверенность, что и человек — микроб, а его планета — кровавой шарик, плывущий вместе со сверкающими собратьями по Млечному пути — артерии Владыки и Создателя всего сущего. Может статься, его плоть, чуть видимая с Земли ночью, ибо она тут же исчезает в необозримом пространстве, и есть то, что люди именуют Вселенной?

VI

— Что ж, Франклин, — сказал я, — «*Cape diem — quam minimum credula postero*»*.

(*Латынь. Это значит: «будь мудр и пей, не упускай счастливый случай. Лишь боги ведают, когда кувшин наполнен будет вновь» — М.Т.¹⁴)

Франклин очень обрадовался, когда я перевел это высказывание, и тут же протянул мне блокнот, чтоб я занес его туда. Он был так потрясен мудростью этих слов, что решил начертать их в виде девиза и повесить у себя в гости-

¹⁴ «Мир уловляй, меньше всего веря грядущему». Гораций. Книга I ода XI. Перевод Гека — пародийная шутка М. Твена.

ной вместо «Боже, благослови сей дом», чтоб призыв был постоянно перед глазами. И пока я выполнял его просьбу, Франклин умудрился выпить дважды. Я ничего не сказал, но, кажется, для практических целей этой короткой жизни мудрости ему не занимать.

Я извинился перед гостем, что не провожаю его до двери; давняя невыносимая известность и преследования поклонников были тому причиной. Он все понял. У дома на сотни ярдов вокруг колыхалась обычная толпа любопытных, надевавшихся посмотреть на меня хоть одним глазком. Франклин произвел мгновенный подсчет мультиграфом и сообщил мне, что число собравшихся — 648 342 227 549 113. Это произвело на него впечатление, и он прищелкнул пальцами, что на языке жестов означало: «За славу приходится расплачиваться, магистр!»

О, боже! С тех пор, как стал знаменитостью, я миллионы раз слышал эту банальную фразу. Каждый произносит ее с видом первооткрывателя, словно его осенила бог знает какая остроумная идея, и пыжится, будто открыл четвертое измерение. А ведь шутка лежит на поверхности, и до нее может додуматься любой, у кого мозги не набекрень. Она из разряда тех шуток, что скудоумные остряки отпускают по поводу имен. Познакомишь такого остряка с человеком по имени Терри, остряк тут же засияет, как солнце, вышедшее из-за тучи.

— Ах, вы Терри! А это — ваша ТЕРРИтория, — и кудахчет до потери сознания над жалким тухлым яйцом собственной кладки. Ему невдомек, что с момента появления Терри на свет не проходило дня, чтобы кто-нибудь не снес при нем это яйцо. А Твен? Твен...как же его звали? Майк? Да, пожалуй, Майк, хоть я слышал о нем очень давно, столетия тому назад в том почти забытом мире, где я тогда обретался, помню, я читал его книги, но не помню, о чем они. Впрочем, постойте, он был вовсе не писатель, этот Твен, а художник... художник или селекционер. Да, да, селекционер, теперь я вспомнил! Твен был родом из Калифорнии,

и звали его Бербанк¹⁵. Он творил чудеса — выводил новые, совершенно немыслимые виды цветов, плодовых и разных других деревьев, получил всемирную известность, а потом был повешен — несправедливо, по мнению многих. Как-то раз Твен выходил из салуна, и ему представили некоего господина; тот, услышав фамилию Твен, засиял, как солнце, вышедшее из-за тучи, и радостно закричал:

— Двен, аДВЕНтист! «И кто принудит тебя идти с ним одну мило, иди с ним ДВЕН?»¹⁶

Твен при всем народе выстрелил в шутника пять раз, и он, скорчившись, упал на тротуар и умер у всех на глазах, к огорчению некоторых очевидцев. Весь штат единодушно требовал, чтобы смертный приговор Твену заменили сроком в Конгрессе или тюрьме — запамятовал где, — и сам губернатор охотно пошел бы на это, если бы Твен покался. Но Твен заявил, что не может лгать, и некоторые ему поверили — он как-то срубил вишневое деревце¹⁷, потому что не может лгать. И тут вдруг выяснилось, что он уже уколошил десятки шутников обоого пола за эту самую шуточку, но почему-то держал это в тайне, и тогда было решено оставить приговор в силе, хотя все вокруг и даже Россфелт¹⁸, президент Соединенных Штатов Америки, признавали, что такие шутники — никчемные люди.

¹⁵ Бербанк Лютер (1849-1926) — американский селекционер-дарвинист.

¹⁶ «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5: 41). Английская игра слов: «твен» — «два»

¹⁷ Твен пародирует хрестоматийный рассказ о детстве первого американского президента. Дж. Вашингтон, срубив вишневое деревце, сознался в своем поступке отцу, добавив, что не может лгать.

¹⁸ «Россфелт» — Марк Твен намеренно искажает фамилию президента Теодора Рузвельта.

Да, что и говорить, память — удивительная и на редкость капризная машина. Ни порядка, ни системы, никакого понятия о ценности — всегда вышвыривает золото и сохраняет пустую породу. Вот я с такой легкостью припомнил уйму пустяковых фактов, относящихся к тем далеким туманным временам, а математику — хоть убей! — припомнить не могу. Я злюсь, но понимаю, что память у всех на один лад и я не имею права жаловаться. К примеру, на днях произошел любопытный случай. Историк Уизпргфски (произносится «Толливер» — *М.Т.*) рассказывал о старине; вдруг ни с того ни с сего в его памяти отвалилась нижняя полка, и оттуда вылетели все известные ему собственные имена. И пока историк пребывал в этом нестабильном состоянии, он не мог назвать ни одного генерала, поэта, патриарха, ни другой знаменитости, зато так и сыпал вымыслами, легендами, рассказами о битвах, революциях и прочих бесплотных фактах. А когда наконец вернулась память на собственные имена, отвалилась другая полка, и пропала целая охапка глаголов. Стоило ему начать «И вот пришло время и Ггггмммдв (произносится как валлийское имя «Ллтвбдвв» — *М. Т.*)...», как он садился на мель, потому что нужное слово вылетело из головы. Мне приходилось самому подыскивать подходящий глагол, чтобы он мог продолжить свой рассказ. И я подсказывал «хфснзз». Когда «н» в ударном положении, это слово означает «начал разлагаться», а когда в безударном, «хфснзз» — причастие прошедшего времени и означает «разложение уже завершилось», то есть микроб уже умер. Но в действительности это не совсем так на Блитцовском, как я уже ранее упоминал, такого явления, как смерть, не существует. Слово «хфснзз» с «н» в ударном положении употребляется лишь в поэтических текстах, но и в поэзии оно не означает, что жизнь прекратилась, — нет, она «ушла». Мы не ведаем, к кому она ушла, но все равно она где-то здесь, рядом. Многие молекулы, составлявшие организм прежнего хозяина, благодаря которым он двигался, чувствовал, иными словами — жил, разбрелись и соединились в новые формы и теперь продолжают свою деятельность в

растениях, птицах, рыбах, мухах и других существах; со временем за ними последуют и остальные, и когда в отдаленном будущем последняя кость рассыплется в прах, освободившиеся молекулы опять станут искать себе подобных и продолжат свою нескончаемую работу. Вот почему у нас, микробов, нет слова, означающего, что микроб мертв в человеческом понимании этого слова, — нет, молекулы кислорода постепенно разбредутся и покинут прежнюю обитель группами и целыми компаниями, они определяют темперамент хрена, тигра, кролика — в той степени, в которой это требуется каждому из них. Молекулы водорода (юмор, надежда, веселье) понесут дух радости тем, кому его недостает, — поднимут сникший цветок или другое существо, павшее духом. Глюкоза, уксусная кислота — одним словом, все, что составляло прежнего хозяина, — будут искать новую обитель, найдут ее и продолжат свою работу; ничто не утратится, ничто не погибнет.

Франклин признает, что атом неразрушим, что он существовал и будет существовать вечно, но он полагает, что когда-нибудь все атомы покинут этот мир и продолжат свою жизнь в другом мире, более счастливом. Старина Толливер тоже полагает, что атом вечен, но, по его мнению, Блитцовский — единственный мир, в котором атом пребудет, и что за всю свою бесконечную жизнь ему не будет ни лучше, ни хуже, чем сейчас, чем было всегда. Разумеется, Толливер считает, что и сама по себе планета Блитцовского — нечто вечное и неразрушимое, по крайней мере, он говорит, что так думает, но мне-то лучше знать, иначе б я затосковал. Ведь у нашего Блитци вот-вот начнется белая горячка.

Но это все чужие человеческие мысли, меня можно понять превратно — будто я не хочу, чтоб бродяга здравствовал. Что случится со мной, если он начнет разлагаться? Мои молекулы разбредутся во все стороны и заживут своей жизнью в сотнях растений и животных; каждая молекула унесет с собой свое особое восприятие мира, каждая молекула будет довольна своим новым существованием, но что станет со мной? Я утрачу все чувства до последнего, как

только закончится мой, вместе с Блитцовским, распад. Как я отныне буду думать, горевать или радоваться, надеяться или отчаиваться? Меня больше не будет. Я предамся мечтам и размышлениям, поселившись в каком-нибудь неведомом животном, скорее всего — в кошке; мой кислород вскипит от злости в другом существе, возможно — в крысе; мой водород унаследует еще одно дитя природы — лопух или капуста, и я подарю им свою улыбку и надежду на лучшее; скромная лесная фиалка, поглотив мою углекислоту (честолюбие), размечтается о броской славе и красоте — короче говоря, мои компоненты вызовут не меньше чувств, чем раньше, но я никогда об этом не узнаю, все будет для блага других, я же совсем выйду из игры. И постепенно, с течением времени я стану убывать — атом за атомом, молекула за молекулой, пока не исчезну вовсе; не сохранится ничего, что когда-то составляло мое «я». Это любопытно и впечатляюще: я жив, мои чувства сильны, но я так рассредоточен, что не сознаю, что жив. И в то же время я не мертв, никто не назовет меня мертвым, я где-то между жизнью и смертью. И подумать только! Века, эры проплывут надо мной, прежде чем моя последняя косточка обратится в газ и унесется ветром. Интересно, каково это — беспомощно лежать так долго, невыносимо долго и видеть, как то, что было тобой, распадается и исчезает, одно за другим, словно затухающее пламя свечи, — вот оно дрогнуло и погасло, и тогда сгустившийся мрак... Но нет, прочь, прочь ужасы, давайте думать о чем-нибудь веселом!

Моему бродяге только восемьдесят пять, есть основания надеяться, что он протянет еще лет десять — пятьсот тысяч лет по микробскому исчислению времени. Да будет так!

VII

Я дождался, пока Франклин скроется из виду, а потом вышел на балкон и с наигранным удивлением посмотрел на толпу, которая все еще не расходилась, надеясь увидеть меня хотя бы мельком. Привычный гром аплодисментов и гул приветствий я встретил с выражением смятения и ужаса; оно так эффектно глядится на фотографиях и в набросках художников, я же довел его до совершенства, упражняясь перед зеркалом. Потом мастерски изобразил удивление, смешанное с почти детской простодушной благодарностью, что в хорошем исполнении всегда имеет успех, и убежал, точно скромная девица, застигнутая в момент, когда на ней нет ничего, кроме румянца. На огромную толпу это произвело самое сильное впечатление; в раскатах счастливого смеха слышались выкрики:

— Ну и миляга!

Читатель! Ты потрясен и презираешь меня, но будь снисходителен. Разве ты не узнаешь себя в этой неприглядной картине? Но это ты! Еще не родился тот, кто не хотел бы оказаться на моем месте; еще не родился тот, кто отказался бы занять его, предоставься ему такая возможность. Мальчишка-микроб бахвалится перед приятелями; юноша-микроб фиглярствует перед девчонками-бациллами, изображая из себя пирата, солдата, клоуна — кого угодно, лишь бы обратить на себя внимание. И, добившись своего, он на всю жизнь сохраняет потребность быть на виду, хоть лицемерит и притворяется, что избавился от нее. Но избавился он не от желания быть на виду, а от честности.

Итак, будь снисходителен, мой читатель, ведь честность — это все, от чего я избавился, вернее, от чего мы с тобой избавились. А иначе мы бы оставались в душе детьми, что весело прыгают на коленях у мамочки, изображая петушка и курочку, а сами посматривают на гостей, ожидая

одобрения. Гостям мучительно стыдно за ребенка, как вам мучительно стыдно за меня; впрочем, вам только кажется, что вам стыдно за меня, — вам стыдно за себя: разоблачив себя, я разоблачил и вас.

Мы ничего не можем с собой поделать, не мы себя создали, такими уж нас произвели на свет, значит, и винить себя не в чем. Давайте же будем добрыми и снисходительными к самим себе, не будем огорчаться и унывать из-за того, что все мы без исключения с нежного возраста и до могилы — мошенники, лицемеры и хвастуны, не мы придумали этот факт, не нам и отвечать за него. Если какой-нибудь ментор попытается убедить вас, что лицемерие не вошло в вашу плоть и кровь и что от него можно избавиться, усердно и непрестанно совершенствуя свою натуру, не слушайте его: пусть сначала усовершенствуется сам, а уж потом приходит с советами. Если он человек честный и доброжелательный, то испытает на себе со всей искренностью и серьезностью средство, рекомендованное им, и больше не покажется вам на глаза.

Столетиями я сохранял неоспоримую репутацию скромной знаменитости, которая тяготится вниманием публики и держится в тени. Что ж, я заслужил такую репутацию. Хорошо продуманными хитрыми уловками. Я играл свою роль ежедневно много столетий подряд, играл уверенно и вполне достоин такой награды. Я подражал королям: они не часто являются народу, а популярностью дорожат больше всего на свете. Популярность — вот главное очарование власти, без нее власть — тяжелое бремя, и любой король, стеная и вздыхая, променял бы свой престол на место, где работы меньше, а шумной известности — больше. Предание приписывает старому Генриху МММММДХХII по прозвищу «Неукротимый» откровенное высказывание: «Да, я люблю восхваления, пышные процессии, почести, благоговейное внимание, люблю ажиотаж вокруг меня. Скажете — тщеславие? Но не являлся еще миру тот, кто не любил бы всего этого, особенно бог».

Я начал было рассказывать вам, как сделался знаменитостью, но сильно уклонился в сторону. Отчасти — потому,

что я давно отвык писать и утратил способность сосредоточиваться. Поэтому я так разбрасываюсь. Есть и другая трудность — мне хотелось написать свою историю по-английски, но я остался недоволен собой: и слова, и грамматика, и правописание — все, что связано с языком, улетучилось из моей памяти, стало чужим. А стиль! Стиль — это почти все. Стиль напоминает фотографию: чуть не в фокусе — и изображение смазалось, в фокусе изображение отчетливое и ясное. Надо давать правильную наводку на резкость — формулировать каждую мысль абсолютно точно, прежде чем дернуть за шнурок.

(Увы! Я был так молод, когда писал эти строки сотни и сотни лет тому назад, молод и самодоволен. Сейчас мне стыдно за себя. Тем не менее пусть все остается как есть. Мне беспокоиться нечего, это выдает не меня, а глупого юнца, который был мной, а теперь похож на меня не больше, чем стебелек на дуб. — М. Т.)

Конец отрывка из старого дневника

VIII

Я решил, что лучше писать на микробском, что и сделал. Вернулся к началу и переписал свою историю на микробском, а потом тщательно перевел ее на английский, в таком виде вы ее и читаете. Это очень хороший перевод, навряд ли многим удалось бы сделать его лучше, но все же по сравнению с оригиналом, блестящим и точным, он как светлячок рядом с молнией. Среди авторов-микробов я считаюсь первоклассным стилистом и мог бы стать первоклассным стилистом и в английском, если б очень захотел.

А знаменитостью я стал вот каким образом. Когда я появился на Блитцовском, я был беден и одинок. Никто не искал общества иностранца. За небольшую плату я поселился в бедной семье. (Их фамилия произносится «Тэйлор»,

но пишется иначе. — *М. Т.*), и они по доброте душевной помогли мне взять напрокат шарманку и мартышку. В кредит. С процентами. Я очень прилежно трудился дни напролет, а ночами учил местный язык. Моими учителями были дети, они никогда не спали, потому что здесь не бывает ночи. Мне пришлось отвести для сна условные часы.

Сначала я зарабатывал какие-то жалкие медяки, но вскоре мне пришла в голову прекрасная идея. Я начал петь. По-английски. Нельзя сказать, что я пел хорошо, и меня обходили стороной, но только первое время, а потом микробы заметили, что я пою на языке, которого никто не знает, и проявили ко мне интерес. Я пел «Салли с нашей улицы», «Со мной не хитри, меня не проведешь»¹⁹ и другие песенки, микробы ходили за мной толпами, слушали и не могли наслушаться.

Я процветал. К концу года я прекрасно освоил язык, на котором говорили мои хозяева, и принялся за другой. Я вст еще чувствовал себя американцем, и год в микромире — десять минут двенадцать секунд — казался мне удивительно коротким; зато потом каждый последующий казался значительно длиннее своего предшественника. Этот процесс постоянного удлинения времени продолжался десять лет; по истечении десятилетия я приравнивал год в мире микробов к американскому полугодию. Тем временем в семье Тэйлоров подросло поколение старших детей, и несколько девушек сорока лет заневестились. Сорокалетняя девушка в мире микробов все равно что двадцатилетняя американская; здесь удивительно здоровый климат, и многие микробы доживают до ста пятидесяти лет — чуть больше целого дня человеческой жизни.

Итак, я процветал. Но песенки про Салли и парня-хитреца набили публике оскомину, и я опасался, что меня закидают камнями. Благоразумно перестроив свою програм-

¹⁹ «Салли с нашей улицы» — популярная песня английского поэта и композитора Генри Кэри (1687–1743). Вероятно, ему же принадлежит и другая — «Со мною не хитри».

му, я обеспечил себе еще десять лет процветания песенками «Прекрасный Дун»²⁰ и «Красотки из Баффало, я жду вас вечером». Сентиментальная музыка нравится микробам больше всего.

Вскоре после появления на Блитцовском мне пришлось объяснять, из какой страны я прибыл. Это был очень деликатный вопрос. Разумеется, я мог, по обыкновению, сказать правду, но кто бы принял ее на веру? Можно было выдать за правду и толковую ложь, но, назовись я американцем из рода колоссов, достающих головой звезды, меня бы тотчас упрятали в сумасшедший дом.

На местном наречии холерный микроб называется «буилк», что эквивалентно латинскому «*lalexalio*», что означает... впрочем, я позабыл, что это означает, можно обойтись хорошим словом «буилк», его здесь произносят с уважением. Я обнаружил, что мои соседи никогда не видели выходцев из Главного Моляра и понятия не имеют, на каком языке там говорят. Главный Моляр — это левый зуб мудрости Блитцовского. В дентине этого зуба есть чрезвычайно тонкие нервные волокна, которые расположены горизонтально и пересекают вертикальные, толстые, как тростниковые заросли, волокна под прямым углом. Я соврал, что родом из одного из них — северо-западного. Слово не воробей, и мне уже было поздно идти на попятную, когда я вспомнил, что левый зуб мудрости Блитцовского ждет выкупа у дантиста и вряд ли когда-нибудь дождется, потому что бродяга не привык платить за услуги и выкупать ненужные вещи, если только можно увильнуть от уплаты. Но все сошло гладко, мои слова приняли за чистую монету. Некоторые доброхоты выразили сожаление, что достойный народ живет так стесненно и далеко, особняком от других наций. Это тронуло меня до глубины души, и я организовал денежный сбор в пользу своих земляков.

²⁰ «Прекрасный Дун» — стихотворение Р. Бернса.

Я любил детей Тэйлоров, они выросли у меня на глазах, многие поколения их были моими баловнями с колыбели, я с болью в сердце наблюдал, как они покидают спокойную домашнюю гавань и отправляются в плавание по бурному матримониальному морю. Когда женились парни, я не особенно горевал, но расставаться с девушками было очень тяжело, даже мысль об этом мучила меня. Как назло, первой отдала сердце своему избраннику моя любимица. По обоюдному согласию, я ласково называл ее Мэгги²¹, хотя у нее было совсем другое имя. Это святое для меня имя, запрятанное в самом укромном уголке моей души, я подарил ей, когда она была очаровательной крошкой. Потом, с годами, когда в ней зародилась прекраснейшая, нежнейшая из страстей, я открыл ей, почему это имя — самое дорогое для меня. Глаза Мэгги наполнились слезами, и она выразила поцелуем те сочувственные слова, что силились произнести ее дрожащие губы. Да, эта свадьба оставила громадную брешь в семье, потому что одновременно с Мэгги вышли замуж 981 642 ее сестры и женилось множество братьев — свыше миллиона, не помню точно — миллион тридцать или миллион тридцать пять. Кто не пережил этого сам, не поймет чувства одиночества, охватившего меня в тот день. Я был на свадьбе почетным гостем и придавал особую торжественность церемонии, исполнив одну из любимых старых песен. Но когда я решил спеть вторую, нервное напряжение дало себя знать, и у меня сорвался голос. Мэгги тоже очень волновалась. С того дня я не могу допеть до конца песню «Со мною не хитри, меня не проведешь» — срывается голос.

Эта свадьба напомнила мне другие края, другие дни, и в памяти всплыли до боли любимые, незабываемые образы. Листая страницы старых потрепанных дневников, чтобы освежить в памяти события, о которых повествуют эти

²¹ Прообраз Мэгги — Лаура Райт, в которую Марк Твен был влюблен в юности.

главы, я обнаружил одну запись; грусть, заключенная в ней, и сейчас, через много столетий, глубоко трогает меня.

25 мая ГГ 2 501 007. Вчера была свадьба Мэгги. Прошлой ночью мне снилась другая Мэгги, земная Мэгги. Никогда больше в этой жизни я не увижу ее милого лица. В дивном сне она явилась мне, как в последний раз наяву, — воплощенная греза, сотканная из света, дух огня и росы, чудное видение, преображенное золотыми лучами заходящего солнца!... Да простит меня бог за то, что я обидел ее грубым словом. Как мог я совершить такое преступление! Мое жестокое сердце не тронул молчаливый упрек ее нежных глаз, и я ушел, не прощенный милым ангелом.

Я сделал эту запись семь тысяч лет тому назад. Любопытное совпадение: с того самого дня раз в столетие, всегда 24 мая, Мэгги является мне во сне в неуывающем блеске своей красоты, и время не смягчает мою душевную боль. Когда сон привиделся мне дважды или трижды, я позволил себе смелость надеяться, что Мэгги будет являться мне во сне каждое столетие; когда благословенный сон привиделся мне пять раз, я уверился в своей правоте и отбросил все сомнения. Вот уже шестое столетие близилось к концу; с растущим нетерпением и страстью я отсчитывал десятилетия, годы, месяцы, дни. Наконец настал долгожданный торжественный день, и во сне я увидел прекрасное видение. И снова я ждал конца столетия, и снова испытывал горькое разочарование с пробуждением. В этом сне всегда звучит музыка — далекая, еле слышная песня, чарующая и трогательная — «Прекрасный Дун». Это была любимая песня Мэгги, теперь и я полюбил ее.

И вот что интересно: во сне прелестная земная девушка кажется мне столь же прелестной, как в те далекие времена, когда я принадлежал к роду человеческого. Это непостижимо, я не могу найти объяснения этому явлению. Неужели во сне я становлюсь человеком и вновь обретаю человеческие представления о том, что красиво, а что — нет? Это звучит правдоподобно, но все же чересчур фантастич-

но и неестественно при трезвой оценке, да и не очень убедительно.

Когда я бодрствую, у меня, понятно, свои, микробские, представления о красоте. Когда я бодрствую и в памяти моей возникают люди, лицом и статью казавшиеся мне некогда прекрасными, они по-прежнему прекрасны для меня — не красотой, присущей человеку, а красотой цветка, птицы либо другого существа другой природы. Для самца гусеницы ни человек, ни иное живое существо не сравнится красотой и обаянием с круглой проворной гусеницей, его любимой подружкой. Что для него Клеопатра? Ничто. Он и головы не повернет в ее сторону. Она для него — шаткая, бесформенная глыба, и уж никак не может зажечь в нем страсть.

Гордая, счастливая мама-осьминог не наглядится на пучок извивающейся пучеглазой бахромы, который она произвела на свет. Он ей кажется сказочно красивым, а на меня и тонна этой бахромы не произведет никакого впечатления. Осьминоги мне отвратительны, я ни за что на свете не соглашусь жить с осьминогом. Это не глупый предрассудок, это моя природа. В таком деле мы не выдумываем сами свои вкусы — они даются нам от рождения, они — одна из многих тайн нашего существования.

Я — микроб. Холерный микроб. С моей точки зрения обаяние, изящество, красота присущи в большей или меньшей степени всем микробам, населяющим замечательный микромир, и в первую очередь — холерным микробам. Помоему, нет никого прекраснее микроба холеры. Я все еще помню, что в человеческом мире у каждого народа был свой идеал красоты — итальянский, немецкий, французский, американский, испанский, английский, египетский, дагомейский, индейский, индийский и тысяча других идеалов цивилизованных и диких народов; я помню также, что каждый народ считал свой собственный идеал самым лучшим, и все это повторяется здесь, на Блитцовском — от макушки до пят. Вы не представляете, какая уйма самодовольных народов проживает даже в налете на зубах Блитцовского; не меньшее количество копошится и на грязной

долларовой бумажке у него в кармане. И уж поверьте мне на слово, любой дикарь из этой компании, разгуливающий нагишом, равнодушно пройдет мимо Мэгги Тэйлор, первой красавицы империи Генриленд (если Мэгги еще жива), и придет в экстаз от воображаемой красоты какой-нибудь замарашки одного с ним роду-племени, которая взволновала бы меня не больше, чем корова. Я исхожу из собственного опыта. Однажды я видел своими глазами, как *bussalis maximus* потерял голову из-за какой-то уродины-единоплеменницы, тогда как рядом разгуливала дюжина холерных красоток, и все как на подбор такие соблазнительные, что и не знаешь, какую предпочесть! Конечно, я счел этого спириллу дураком, а он — меня!

Ничего не поделаешь, такова уж наша природа. Я никогда не был женат и не женюсь. Неужели потому, что когда-то три тысячи лет тому назад в Америке потерял безвозвратно свое сердце, влюбившись в Маргарет Адамс? Может быть. Полагаю, так и случилось. Раз в столетие она является мне во сне, вечно молодая и красивая, и я во сне обожаю своего идола, как и прежде. Но, пробудившись, я становлюсь самим собой, а она — смутным, больше не волнующим меня воспоминанием. Став собой, нынешним, я снова восхищаюсь прелестными бутончиками из своего любимого микромира и твердо знаю, что лет сто на меня будут действовать лишь чары голубых глаз и веселых улыбок юных студенток, в чьих жилах течет голубая кровь холерных микробов — старейшего, благороднейшего и самого могущественного народа микромира, если не считать бацилл чумы, при одном упоминании которых все вокруг снимают шляпы.

Я не помню, сколько лет было моей земной возлюбленной, ведь с той поры прошла целая вечность, но думаю — лет восемнадцать-девятнадцать. Я был года на три-четыре старше, но точно сказать не могу: события тех дней стерлись в моей памяти. Мне кажется, это происходило в царствование Наполеона I, а может быть, он только что пал под Марафоном или Филиппинами — помнится, все только и говорили о каком-то потрясшем мир событии, вероят-

но, о нем. Я только что закончил Йельский университет — событие огромной важности для меня, такое не забывается, оно произошло в тот самый год, когда генерал Вашингтон двинулся на Север, чтобы принять командование над гессенцами²².

Примечание (семь тысяч лет спустя)

Второй раз встречаю это заявление. Не представляю, как оно попало сюда. Хотя это и моя рука, думаю, здесь какая-то ошибка. Я приезжал в Йельский университет, лишь когда мне присуждали ученые степени. *Б.б.Б.*

Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда я сподобился его увидеть. Я стараюсь опираться на исторические события, чтоб сохранить связь со своим земным прошлым. Во—первых, в силу своей значимости, они запомнились лучше, чем мелочи жизни, а во—вторых, я всегда любил историю и прекрасно схватывал все детали, о чем с похвалой отзывался профессор Толливер. Мне было очень лестно услышать мнение знаменитого местного ученого, историка по специальности.

Должен пояснить, что «ГГ» в предыдущей дневниковой записи означает «Год Генриад». Высокомерная династия,

²² М. Твен показывает путаницу, царящую в голове рассказчика. Наполеон I (1769-1821), как известно, умер на о. Св. Елены. Марафон — древнее селение в Аттике (Греция). Джордж Вашингтон (1732-1799) командовал армией колонистов в Войне за независимость в Сев. Америке и, естественно, не мог возглавлять гессенцев, рекрутов из прусского герцогства Гессен-Кассель, воевавших на стороне Англии. Многие исследователи, подчеркивая памфлетный характер повести, связывают ее с памфлетами Твена начала века, в которых он гневно обличал политику империалистических захватов, в частности порабощение Филиппин.

захватив трон, распорядилась вычеркнуть из истории все предыдущие века и начать ее заново с Года Первого — поступок вполне в духе этой династии. С точки зрения микроба и правил приличия, принятых в микромире, это не лезет ни в какие ворота. Конечно, я придерживался такого же мнения и до того, как стал микробом. Я был среди недовольных, когда Американская революция победила и сэр Джон Франклин и его брат Бенджамин созвали Вормсский съезд — провозгласить Год Первый и дать месяцам новые названия — жерминаль, фрюктидор и учредить прочую чушь²³. Я полагаю, такие кардинальные перемены в исчислении времени должны быть исключительной привилегией духовенства. Лишь религиям под силу учредить долговременные эпохи. Ни одна политическая эпоха не идет в сравнение с ними, ибо основной закон любой политики — перемена, перемена, непрерывная перемена, иногда к лучшему, иногда к худшему; недопустимы лишь остановка, застой, неподвижность.

Религии — от бога, они ниспосылаются нам его рукой и потому идеальны, политика же — творение людей и микробов, она нестабильна, как и ее творцы. Эволюция — закон любой политики. Это сказал Дарвин, подтвердил Сократ, доказал Кювье и увековечил эту истину века в своем труде «Выживаемость наиболее приспособленных»²⁴. Имена ученых обрели величие, а закон — незыблемость. Ничто не мо-

²³ Пародийное смешение лиц и событий. Джон Франклин в отличие от Бенджамина — известный английский полярный исследователь. Вормский съезд 1521 года осудил Мартина Лютера как еретика, а что касается названий месяцев, установленных Конвентом в 1793 г...

²⁴ «...сказал Дарвин...» — шутка М. Твена. Ч. Дарвин (1809-1882) — английский естествоиспытатель. Основной труд — «Происхождение видов путем естественного отбора»; Сократ (470/469 – 399 до н. э.) — древнегреческий философ, для последующих эпох — воплощение идеала мудреца; Ж. Кювье (1769–1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии.

жет сдвинуть его с прочного фундамента, разве что эволюция.

IX

Свадьбы в семье Тэйлоров стали важной вехой в моей карьере. Именно там я познакомился с учителем музыки Томпсоном (он позволил мне называть себя так, ибо я не мог выговорить его настоящего имени). Томпсон, добродушный и хорошо образованный микроб, был из рода палочных бактерий, развивающихся в сметане. Его привлекло мое пение, столь необычное для здешних мест, он сам подошел ко мне и представился. Радость мою трудно описать словами — я давно тосковал по интеллектуальному общению! Вскоре мы сделались близкими друзьями. Томпсон не был важной персоной и не мог содействовать моему преуспеванию в делах, но он ввел меня в круг своих образованных друзей, оказав мне тем самым большую услугу. Среди них было несколько ученых не очень высокого ранга. Был ли я счастлив? Разумеется, и очень благодарен Томпсону. Мы были молоды, полны энтузиазма и никогда не упускали случая встретиться. Собирались в дружеском кругу, как только удавалось выкроить время от насущных забот, и в счастливом содружестве стремились раскрыть тайны природы.

Иногда мы урывали денек-другой на службе и, бросив магазин, бухгалтерию, шарманку и прочие занятия, отправлялись на экскурсии — ботанические, зоологические, ихтиологические, энтомологические, палеонтологические; время — год за годом — летело весело, и порой нам удавалось сделать какое-нибудь счастливое открытие. Так продолжалось десять лет. И вот наступил день, когда было совершено величайшее открытие, о котором я уже упоминал, — были найдены окаменевшие останки блохи.

В те дни жизнь улыбалась нам — и мне, и другим ребятам. Я говорю «ребятам», потому что мы все еще чувствовали себя ребятами, называли так друг друга по старой привычке, и это было естественно: мы и сами не заметили, как перешагнули «мальчишеский» рубеж. Десять лет мы проходили вместе курс наук. Мне было семьдесят восемь (по микробскому исчислению времени), но выглядел я ничуть не старше, чем тридцать лет тому назад, когда впервые появился на Блитцовском; тогда мне было двадцать шесть-двадцать семь лет по человеческому исчислению времени.

Моим приятелям было около пятидесяти, и по человеческой мерке им можно было дать лет двадцать пять-двадцать восемь. Десять прошедших лет сказались на их облике: они постарели — это было видно с первого взгляда. Я же за это время совсем не изменился. Прошло тридцать лет, мне казалось, что я прожил здесь целую жизнь, но внешне прошедшие годы не состарили меня и на день. Я был молод душой и телом, я сохранил юношескую подвижность и силу. Приятели диву давались, да и сам я тоже. Я много размышлял над этой загадкой. Может, во мне осталось что-то человеческое? Я пробыл микробом почти целый человеческий день; может быть, мое сознание вело отсчет по микробскому времени, а тело — по человеческому? Я не мог ответить на этот вопрос, я ничего не знал наверняка и, будучи немного легкомысленным от природы, довольствовался тем, что был счастлив. Приятели воздавали должное моей затянувшейся молодости; как только иссякал источник научных головоломок, они неизменно возвращались к моему феномену и обсуждали его заново.

Они, конечно, хотели, чтоб я помог им разобраться в теории вопроса, и я жаждал им помочь, ибо настоящий ученый скорей откажется от еды, чем от возможности порассуждать, но что-то меня удерживало. Если говорить на чистоту, я, как ученый, должен был предоставить в их рас-

поряжение все относящиеся к делу факты, которыми располагал, следовательно, раскрыть секрет своего прежнего существования и сообщить им, ничего не утаивая, все подробности. Трудно преувеличить сложность данной ситуации. Я хотел, чтобы товарищи по-прежнему уважали меня, а гигантская ложь — не лучший способ сохранить уважение; по моим подсчетам, у меня был один шанс против тысячи, что они именно так расценят мое признание.

Увы, мы лишь игрушки случая. Случай — наш хозяин, мы его рабы. Мы не можем иметь своих желаний, мы должны покорно повиноваться воле случая. Именно воле, ибо случай не просит, случай повелевает, и тогда мы делаем свое дело, полагая, что сами его замыслили. Изменяются обстоятельства, и мы — ничего не поделаешь — меняемся вместе с ними. Пришло время, и мои обстоятельства изменились. Приятели заподозрили что-то неладное. Почему я увильваю от ответа, мямлю, пытаюсь перевести разговор на другое, как только речь заходит о моей непреходящей молодости? Пошли шепотки. При моем появлении ни одно лицо не освещалось приветливой улыбкой. Там, где меня, бывало, ждала радушная встреча, мне лишь небрежно кивали; вскоре наша компания раскололась, разбредлась кто куда, и я пребывал в одиночестве и унынии. Раньше чувство радости не покидало меня, теперь я был постоянно в дурном расположении духа.

Обстоятельства изменились, они требовали, чтобы изменился и я. Мне, их рабу, пришлось подчиниться. У меня была одна-единственная возможность вернуть любовь и доверие приятелей: пролить свет на предмет спора, откровенно рассказав им о своем прежнем, человеческом существовании, а там — будь что будет. Я целиком подчинил себя цели — найти лучший способ действий. Может быть, рассказать свою историю сразу всей компании, или — что, пожалуй, умнее — опробовать ее на двух приятелях, обратив их, если удастся, на путь истины, а с их помощью — и остальных? После долгих размышлений я остановился на втором варианте.

Нас было двенадцать. Все, как говорится, из хороших семей. Мы не были ни знаменитостями, ни аристократами, но в нас текла кровь двенадцати великих родов наследственной аристократии всех монархий на Блитцовском. Ни один из нас не имел в фамилии гласных, хотя благородное происхождение обязывало нас заслужить эти гласные, что было вовсе не обязательно для микробов более скромного происхождения. Гласными жаловали фаворитов из высшего света, как это водится при дворах, но менее родовитые микробы могли заслужить их личными доблестями, добиться интригами, подкупом и так далее. Микробы жаждали мишуры и отличий, это было естественно и лишний раз доказывало, что разница между людьми и микробами лишь в физических размерах.

Я не мог выговорить ни одного имени из-за отсутствия гласных, а приятели мучились с моим местным именем; оно было вымышленное, я хитроумно изобрел его сам во избежание неприятностей. Я назвался уроженцем Главного Моляра, а это была далекая и никому не известная страна, поэтому требовалось имя, внушающее доверие окружающим, экзотическое имя, приличествующее чужестранцу. Я придумал такое имя — смешение зулусского с тьерра-дельфуэганским, — оно состояло из трех клохтаний и одной отрыжки и было самым непроизносимым именем, какое я когда-либо слышал. Я и сам-то не мог выговорить его одинаково два раза подряд, а что до приятелей, так они бросили всякие попытки звать меня по имени, а потом стали пользоваться им как ругательством. Когда они попросили придумать для них что-нибудь полегче, я предложил им называть меня Геком, уменьшительным именем от моего американского Гексли. В благодарность приятели со всей стороны позволили и мне назвать их другими именами. Я предложил им на выбор сорок пять имен своих любимых литературных героев, и после долгих упражнений мы отобрали одиннадцать, которые они могли осилить с наименьшей опасностью сломать себе челюсть. Ниже я привожу эти имена, сопровождая каждое указанием,

к какому великому генеалогическому древу или ветви его принадлежит владелец, и описанием семейного герба.

Лемюэль Гулливер — гноеродная точка, глава гноеродных микробов. Герб — одна точка.

Лурбрулгруд — двойная точка, *diplococcus*, ветвь гноеродных. Герб — типографское двоеточие.

Рип ван Винкль — ветвь — *sarcina*, кубовидные массы. Герб — оконный переплет.

Гай Мэннеринг — стрептококк, возбудитель рожистого воспаления. Герб — петлеобразная цепь.

Догберри — возбудитель острой пневмонии. Герб — ланцет.

Санчо Панса — возбудитель тифа. Герб — бирюльки.

Давид Копперфильд — ветвь — реснички эпителия. Герб — хрен с пучком корней.

Полковник Малберри Селлерс — ветвь родства — тризм челюсти. Герб — сломанная игла.

Людовик XIV — туберкулезная палочка. Герб — порванная паутина.

Царь Ирод — дифтеритная палочка. Герб — рассыпанная азбука Морзе²⁵.

Гек — возбудитель азиатской холеры. Герб — клубок земляных червей.

²⁵ Лемюэль Гулливер — Назвав одного из приятелей Гека Лемюэлем Гулливером, а другого Лурбрулгрудом (Лурбрулгруд — столица королевства Бробдингней в «Путешествиях Лемюэля Гулливера» Д. Свифта), Марк Твен тем самым подчеркнул несомненное влияние Д. Свифта на свое произведение. Рип ван Винкль — герой одноименного произведения Вашингтона Ирвинга (1819). Гай Мэннеринг — герой одноименного произведения Вальтера Скотта (1815). Догберри — комический персонаж комедии У. Шекспира «Много шума из ничего». Полковник Малберри Селлерс — персонаж романа М. Твена «Американский претендент». Людовик XIV — король Франции (1643-1715). Царь Ирод (ок. 73 – 4 до н. э.) — царь Иудеи с 40 г. В Новом завете ему приписывается «избиение младенцев» при известии о рождении Христа.

Дон Кихот — возбудитель возвратного тифа. Герб — клубок змей.

Никто не знает происхождения этих достославных гербов, нигде не упоминаются великие события, в честь которых они были учреждены и которые были призваны увековечить. Эти события происходили в незапамятные доисторические времена и не сохранились даже в преданьях старины. Но вот что поразительно! Я точно помню, что под микроскопом представитель любого семейства микробов выглядел так же, как его герб, но это на земле, а здесь, когда смотришь на него глазами микроба, он кажется удивительно красивым — и лицом, и сложением, и даже отдаленно не напоминает семейный герб. Это очень странно и, по-моему, чрезвычайно интересно. Такого совпадения нигде больше не встретишь. Однажды много лет тому назад я чуть было не рассказал приятелям об этом удивительном феномене; мне так хотелось изучить его и обсудить вместе с ними, но я вовремя спохватился. Это было бы крайне неосторожно. Микробы очень обидчивы, и вряд ли им понравилось бы такое сообщение. И еще: они...

Но пока хватит о микробах, пора вернуться к сути дела. Итак, я решил доверить свою тайну двум приятелям, а остальных пока оставить в неведении. Я выбрал Гулливера и Людовика XIV. По ряду причин я бы отдал предпочтение Гаю Мэннерингу и Давиду Копперфильду, если б мы жили в республике, но в монархии Генриленд приходилось соблюдать этикет и табель о рангах. В Гулливере была четверть молекулы королевской крови правящей династии Генрихов; сами Генрихи об этом не подозревали, да если б и подозревали, отнеслись бы к этому факту с полным безразличием, но Гулливер был к нему отнюдь не безразличен — он постоянно помнил о высоком родстве и напоминал об этом окружающим. Мне пришлось выбрать Гулливера первым. Вторым должен был стать Людовик XIV. Это было неизбежно, ибо и в нем текла голубая кровь — неважно, в каком количестве. Разумеется, будь среди нас представитель клана Чумных бацилл... но его не было, так что и говорить об этом нечего. Гулливер работал продавцом в

продовольственном магазине, а Людовик XIV — фармацевтом в аптеке.

Я пригласил обоих в свою скромную квартирку. Они явились вечером того дня, когда мы совершили замечательное открытие — обнаружили гигантскую окаменелую блоху, или точнее — кончик ее огромной лапы. Это был чудесный день, энтузиазм поиска сплотил нас, будто в добрые старые времена. День за днем я собирался позвать Лема и Луи, но каждый раз не мог набраться храбрости, а теперь понял: обстановка благоприятная, и надо ковать железо, пока горячо.

Итак, явились приятели, притом в самом хорошем настроении. Я принял их сердечно, как бывало, и они растрогались до слез. Я подбросил дров в маленький простой камин, и, когда вверх взметнулось веселое пламя, мы сгруппировались возле огня, попыхивая трубками, с бокалами горячего пунша.

— Ну до чего же здорово! — сказал Луи. — Совсем как в доброе старое время!

— За его возрождение! — воскликнул Гулливер.

— Пей до дна! — добавил я, и мы выпили.

Потом пошли разговоры, разговоры, где абзацами и знаками препинания служили наполненные бокалы; наконец, все слегка осовели и расслабились, и тогда я приступил к делу.

— Ребята, — начал я, — хочу открыть вам свою тайну.

Они глянули на меня с интересом, если не сказать — с опаской.

— Вы просили помочь с разгадкой таинственного феномена — непостижимого отсутствия у меня возрастных перемен, а я все время избегал этой темы; виной тому не моя несговорчивость, поверьте, а вполне разумная причина, которую я раскрою сегодня и попытаюсь убедить вас, что мое поведение было справедливо и оправданно.

Глаза их засветились благодарностью, нашедшей выражение в сердечном восклицании:

— Руку!

Мы обменялись рукопожатиями.

— Вы, не сомневаюсь, заподозрили, что я изобрел эликсир жизни и потому сохраняю молодость, не так ли?

Приятели, поколебавшись, подтвердили мою догадку. По их признанию, этот вывод напрашивался сам собой, а все другие теории казались несостоятельными. Потом они процитировали мою фразу, которую я давно позабыл; как-то я вскользь заметил, что эликсир жизни, возможно, будут получать из лимфы овец.

— Дело в том, что ты сам подбросил нам эту идею, — сказал Луи, припомнивший мою фразу, — а когда ты замкнулся в себе, мы ухватились за нее и попытались добратсья до твоего секрета. Одно время мы думали, что добились успеха. Создали эликсир и испытали его на множестве дряхлых бацилл, уж стоявших одной ногой в могиле. Первые результаты были потрясающие, эликсир удивительно быстро возвращал старых бедолаг к жизни; они танцевали, занимались на трапециях, участвовали в состязаниях по бегу, позволяли себе всякие неуместные шалости, и это было самое смешное и жалкое зрелище столетия. Но вдруг ни с того ни с сего все эти психи сыграли в ящик.

— Теперь вспоминаю! Стало быть, это вы получили знаменитый овечий эликсир, из-за которого одно время было столько шума?

— Да, — кивнул Лем Гулливер, — и мы полагали, что ты поможешь усовершенствовать его состав, если захочешь нам помочь. Обидно и горько сознавать, что ты бережешь эту великую тайну для себя, хотя, следуя благородным традициям науки, должен открыть ее народу, не требуя взамен никакого вознаграждения.

— Ребята, — взмолился я, — прошу вас, ради старой дружбы поверьте мне на слово. Во-первых, я не открыл никакого эликсира жизни. Во-вторых, случись такое, я бы отдал его бескорыстно для общего блага. Вы мне верите?

— Клянемся бородой Генриха Великого Восемьсот Шестидесят Первого, мы верим тебе, Гек, и верим с радостью, — вскричали приятели. — Руку!

Мы обменялись рукопожатиями.

— А теперь, — продолжал я, — прошу вас поверить и в то, что я сам не знаю секрета своей непреходящей юности.

Сказал и сразу почувствовал, как между нами пробежал холодок. Приятели смотрели на меня в упор с грустью и укором, пока я не опустил глаза. Я все ждал и ждал, надеясь, что из великодушия они прервут тягостное молчание, но Лем и Людовик как воды в рот набрали. Под конец я не выдержал:

— Друзья, старые соратники, выслушайте меня и проявите доброту души. Вы мне не верите, но, клянусь честью, я сказал правду. А теперь хочу открыть вам тайну, как и обещал. Может быть, мой рассказ прольет свет на чудо моей непреходящей молодости, во всяком случае, я надеюсь. Полагаю, здесь и кроется разгадка, но я в этом не уверен: ученый не может принимать на веру то, что хоть и кажется правдоподобным, но не выдерживает последнего испытания, самого главного испытания — демонстрации. Начну свою исповедь с того, что раньше я не был холерным микробом.

Как я и думал, они рты раскрыли от изумления, но отчужденность чуть уменьшилась, и это уже было хорошо.

XI

Да, мое признание смягчило напряженность. Оно, будто струя озона, освежило воздух. Еще бы! Такое признание возбудит интерес любого смертного. Подобное заявление, даже сделанное вскользь, обязательно приковало бы к себе внимание ученых. Новое, неслыханное, таинственное привлекает всех, даже самых отъявленных тупиц. Раньше тайна всегда связывалась с поиском сокровищ. Моя тайна могла дать той сто очков вперед. Ученому не пристало выражать удивление, выказывать волнение, проявлять излишний пыл, он должен постоянно помнить о профессиональном достоинстве — это закон. Поэтому мои приятели взяли себя в руки и скрывали свое нетерпение.

Выдержав глубокомысленную паузу, как и подобает ученому, Луи приступил к делу, спросив нарочито спокойно:

— Гек, как понимать твоё заявление — в переносном смысле или в прямом — как научный факт?

— Как научный факт.

— Если раньше ты не был холерным микробом, то кем же ты был?

— Американцем.

— Кем?

— Американцем.

— Это звучит как-то неопределенно. Мне непонятно. Что значит американец?

— Человек.

— Э... э, тоже непонятно. А ты, Лем, понимаешь?

— Ничего, хоть убей, — с отчаянием в голосе ответил Лем.

— Что такое человек? — продолжал допытываться Людовик.

— Существо, которое вам не известно. Человек живет на другой планете.

— На другой?

— На другой? — эхом отозвался Гулливер. — Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал.

Он насмешливо хмыкнул:

— Главный Моляр — планета! Удивил, ничего не скажешь. Просвещенные умы веками ищут родину микроба скромности, а теперь, Гек, ответ найден!

Во мне нарастало раздражение, но я сдержался и сказал:

— Я этого не говорил, Лем. Я не имел в виду Главный Моляр.

— Как же так? Послушай, Гек...

— Я понятия не имею о Главном Моляре. Мне наплевать на Главный Моляр. Я там сроду не был.

— Что? Ты не...

— Не был. Никогда не был. Я...

— Вот это да! А где ж ты получил свое несуслазное имя?

— Выдумал. Мое настоящее имя на него ничуть не похоже.

— Назови свое настоящее имя.

— Б. б. Бксхп.

— Послушай, Гек, — сказал Людовик, — зачем тебе понадобились все эти небылицы? Какая от них польза?

— Я был вынужден лгать.

— Но почему?

— Если б я сказал всю правду, меня бы упрятали в сумасшедший дом. Решили бы, что я с ума свихнулся.

— Не представляю, чтоб такое могло произойти. Почему правда должна вызывать такую реакцию?

— Потому что ее бы неправильно поняли и сочли ложью. Выдумкой умалишенного.

— Брось, Гек, не давай воли воображению. Полагаю, что тебя бы правильно поняли. Ты...

— Нет, это мне нравится! Всего минуту тому назад я открыл вам парочку подлинных фактов, и вы меня не поняли. Стоило мне сказать, что я родом с другой планеты, как Лем решил, что я говорю о Главном Моляре, этой ничтожной жалкой глухомани, а я имел в виду, черт побери, то, что говорил, — другую планету. Не Блитцовского, а другую планету.

— Ну и простофиля, — вмешался Гулливер, — другой планеты просто не существует. Многим микробам нравится забавляться теорией, будто существуют другие планеты, но ты сам прекрасно понимаешь, что это всего лишь теория. Никто не принимает ее всерьез. Она ничем не подтверждается. Нет, Гек, твой подход явно не научный. Прислушайся к здравому смыслу — выбрось эти бредни из головы!

— Я повторяю — это не бредни, существует другая планета, я вырос на ней.

— Ну, если это так, ты должен знать о ней очень много. Ты обогатишь нас знаниями, поведав о ней...

— Нечего насмехаться! Я могу пополнить сокровищницу вашего опыта так, как она никогда доселе не пополня-

лась, при условии, что вы будете слушать и размышлять, а не высмеивать все, что я говорю.

— Это несправедливо, Лем, — сказал Людовик, — кончай свои шутки. Как бы тебе самому понравилось такое обращение?

— Ладно. Продолжай, Гек, расскажи нам о новой планете. Она так же велика, как наша?

Меня разбирал смех, и я притворился, будто подавился дымом; это позволило мне кашлять вволю, пока опасность не миновала, и тогда я сказал:

— Она больше Блитцовского.

— Больше? Ну и чудеса! Во сколько раз больше?

Это был щекотливый вопрос, но я решил идти напролом.

— Она, видишь ли, так велика, что, если оставить на ней планету Блитцовского, не привязав ее где-нибудь веревкой и не пометив этого места, уйдет добрых четыре тысячи лет на то, чтоб ее отыскать. Пожалуй, даже больше.

С минуту они взирали на меня с немой благодарностью, потом Людовик сполз со стула, чтоб вволю нахохотаться, катаясь по полу, а Гулливер вышел за дверь, снял с себя рубашку и, вернувшись, положил ее, сложенную, мне на колени. У микробов это означает: браво, ты превзошел самого себя. Я швырнул рубашку на пол и, обращаясь к обоим, заявил, что они ведут себя подло. Приятели тут же утихомирились, и Лем сказал:

— Гек, мне и в голову не пришло, что ты это всерьез.

— И мне тоже, — поддержал его Людовик, утирая слезы смеха, — я и вообразить такое не мог, ты захватил нас врасплох.

Потом они уселись на свои места, всем видом изображая раскаяние, и я готов был им поверить, но вдруг Лем попросил меня рассказать еще одну небылицу. Будь на его месте кто-нибудь другой, я б его ударил, но смертоносных гноеродных микробов лучше не трогать, если есть возможность прибегнуть к третейскому суду. Людовик отчитал Гулливера, потом они оба принялись умасливать меня, пытаясь вернуть в доброе расположение духа, и скоро доби-

лись своего сладкими речами; трудно долго сохранять надутый вид, когда два приятеля, любимых тобою десять лет, играют, как говорится, на слабых струнках твоего сердца. Вскоре расспросы продолжались как ни в чем не бывало. Я сообщил им несколько незначительных фактов о своей планете, и Людовик спросил:

— Гек, каковы же действительные размеры этой планеты в цифровом выражении?

— В цифровом? Тут я — пас! Эти цифры на Блитцовском не уместятся!

— Ну вот, снова ты за свои сумасброд...

— Подойдите к окну — оба! Посмотрите вдаль. Какое расстояние вы охватываете глазом?

— До гор... Миль семьдесят пять.

— А теперь подойдите к окну напротив. Как далеко видно отсюда?

— Здесь нет горного рубежа, поэтому трудно определить расстояние на глаз. Долина сливается с небом.

— Короче говоря, происходит бесконечное удаление и исчезновение в пространстве?

— Именно так.

— Прекрасно. Допустим, это бесконечное пространство символизирует другую планету. Бросьте семя горчицы где-то посередине и...

— Вина ему! — закричал Лем Гулливер. — Вина, да поскорее! Мельница лжи того и гляди остановится!

То говорил практический ум — ум, лишенный сентиментальности, рельсовый ум, если так можно выразиться. У него большие возможности, но нет воображения. В нем всегда царит зима. Впрочем, нет, не совсем так — скажем, первая неделя ноября. Снега еще нет, но он вот-вот выпадет, небо затянуто тучами, временами сеется мелкий дождь, иногда проплывают туманы; во всем неясность, настороженность, растущая тревога; заморозки еще не ударили, но зябко — около сорока пяти градусов по Фаренгейту. Ум такого склада ничего не изобретает сам, не рискует деньгами и не проявляет заботы о том, чтобы осуществилось изобретение другого; он не поверит в ценность изобре-

ния, пока другие не вложат в него деньги и труд; все это время он выжидает в сторонке, а в нужный момент вылезает вперед, первым получает акции на общих основаниях с учредителями и загребает деньги. Он ничего не принимает на веру, его не заставишь вложить деньги в фантастическое предприятие на самых выгодных условиях и поверить в него, но, понаблюдав за ним, вы обнаружите, что он всегда тут как тут и, когда фантастика становится явью, получает на нее закладную.

Для Лема Гулливера моя планета была фантастикой и останется фантастикой. Но для Людовика, человека эмоционального, с богатым воображением, она была поэтическим произведением, а я — поэтом. Он сам сказал мне эти красивые слова. Совершенно очевидно, что я наделен прекрасным благородным даром, а моя планета — величественный и впечатляющий замысел, фундамент, если так можно выразиться, ждущий своего архитектора; гений, способный мысленно заложить такой фундамент, полагал он, может возвести на нем чарующий дворец — причудливое сочетание воздушных куполов и башен снаружи и диковинного интерьера; умиротворенный дух будет витать там, исполненный благоговения, не замечая быстротечного времени, ничего...

— Вздор! — прервал его Лем Гулливер. — Это как раз в твоём духе, Людовик XIV, — вечно ты готов строить замок из десятка кирпичей. Гек заложил большой фундамент, и ты уже доволен, ты уже видишь отель, который Гек на нем построит. Но я другого склада. Когда этот кабак будет построен, я готов вступить в пай, но вкладывать в него деньги на этой стадии — дудки, у меня пока есть голова на плечах!

— Ну, разумеется, — парировал Людовик, — это в твоём духе, Лем Гулливер, мы тебя знаем и знаем, к чему ты клонишь. Ты всегда тянешь нас назад своими сомнениями, ты отбиваешь охоту к любому делу. Если Гек сумеет продолжить не хуже, чем начал, это будет самая возвышенная поэма мировой литературы, и все, кроме тебя, поверят в то, что ум, способный вообразить такой величественный

фундамент, способен вообразить и дворец, создать диковинные материалы и божественно сочетать их. И ты говоришь о мельнице лжи! Еще придет день, когда ты, Лем Гулливер, станешь молить бога ниспослать тебе такую мельницу!

— Бей, бей! Все шары в лунках, кроме девятого. Переходи на другую дорожку, приятель! Я разбит, я уничтожен, но все равно держу пари, что Геку не построить отель — сейчас. Ты считаешь, что у него есть материалы для строительства — это твое дело, а по-моему, если он заложил фундамент такой величины, спор не о том, что это прообраз дворца, а о том, воздвигнет ли он сам дворец. Гек уже иссяк, вот увидишь!

— Я не верю этому. Ты ведь не иссяк, Гек?

— Иссяк? Да я еще не приступал к делу.

— Ну как, Лем Гулливер? Что ты на это скажешь?

— Скажу, что его слова еще не доказательство. Давай, Гек, пускай в ход свою мельницу лжи — вот и все, что я скажу. Пусть дерзает.

Людовик заколебался. Лем заметил это и бросил насмешливо:

— Ты прав, Луи, не стоит его переутомлять.

— Я сомневаюсь не потому, что боюсь за него, Лем Гулливер, не думай. Мне пришло в голову, что это несправедливо. Надо дать Геку передышку для восстановления сил. Вдохновение не вызовешь механически, оно не является по команде, оно скорее...

— Можешь не искать оправдания. Ну и что с того, что он иссяк? Я вовсе не собираюсь давить на Гека. Дай ему передышку, пусть восстанавливает силы. Ты прав: вдохновение не вызовешь механически — нет, это вещь духовная. Поставь перед ним кувшин с вином.

— Мне он ни к чему, — сказал я, чувствуя, что должен прийти на помощь Луи, — я могу обойтись и без вина.

Луи просветлел лицом.

— Так ты в состоянии продолжать, Гек? Ты и вправду так думаешь?

— Я не думаю, я знаю наверняка.

Лем насмешливо хмыкнул и предложил мне, как он выразился, «выплеснуть опивки».

ХП

Снова начались расспросы. Меня попросили дать описание моей планеты.

— По форме она круглая, — начал я.

— Круглая? — встрепенулся Гулливер. — Ну и форма для планеты! С нее тотчас бы все упали, даже кошка — и та бы не удержалась. Круглая! Закупоривай кувшин, Луи! Геку не нужно вдохновение! Круглая! Ах, холера...

— Оставь его в покое! — взорвался Людовик. — Критиковать причудливый поэтический вымысел с позиций холодного разума несправедливо и недостойно, Лем Гулливер, и ты это прекрасно знаешь!

— Что ж, пожалуй ты прав, Луи, беру свои слова обратно. У меня сложилось впечатление, будто Гек привел обычный факт, и это сбilo меня с толку.

— Я и привел факт, — возразил я, — если он может сойти за поэтический вымысел — не моя вина, он все равно остается фактом, и я стою на том. Это — факт, Людовик, вот тебе мое честное слово.

Людовик был ошеломлен. Некоторое время он глядел на меня с оторопелым видом, потом обреченно произнес:

— Я совсем запутался. Не знаю, как быть в таком случае, в жизни ни с чем подобным не сталкивался. Я не представляю себе круглой планеты, но ты, вероятно, думаешь, что она существует, и искренне веришь в то, что побывал на ней. Я больше ничего не могу сказать, не покрывив душой, Гек.

Я очень обрадовался и сказал растроганно:

— Спасибо тебе, Луи, от всего сердца — спасибо. Ты подбодрил меня, а мне нужна поддержка: передо мной задача — не из легких.

Гноеродному микробу мои слова показались сентиментальными, и он с издевкой произнес:

— Дорогие девочки! Ах, ах, ну до чего же трогательно! Ну посюсюкайте еще немножко!

Не представляю, как можно так себя вести. С моей точки зрения, это — грубость. Я холодно пропустил замечание Лема мимо ушей, не снисходя до ответа. Полагаю, он понял, что я о нем думаю. Я же спокойно продолжал свой рассказ, будто и не заметил, что меня прервали. Это, понятно, уязвило Лема, но я не обращал на него внимания. Сообщил, что моя планета называется Земля, на ней много разных стран и огромную часть ее поверхности занимают моря и океаны.

— погоди, — остановил меня Гулливер. — Океаны?

— Да, океаны.

— И это тоже научный факт?

— Разумеется.

— Ну тогда, будь добр, растолкуй мне, как они удерживаются на круглой планете? Что мешает им вылиться — тем, что внизу, если внизу есть океаны, а они должны быть: в такой сумасшедшей выдумке должно быть свое сумасшедшее единообразие.

— Никакого «внизу» не существует, — ответил я. — Земля постоянно вращается в пространстве.

— Вращается? В пространстве? Слушай, ты и это выдаешь за факт?|

— Да, это факт.

— Вращается в пространстве и не падает? Я тебя правильно понял?

— Правильно.

— И она при этом ни на чем не покоится? Так?

— Так.

— Из чего же она состоит? Может, это газ, наполняющий мыльный пузырь?

— Нет. Она состоит из скальных пород и почвенного слоя.

— Вращается в пространстве, ни на чем не покоится, состоит из скальных пород, почвы и не падает?

— Ее удерживает на месте притяжение других звездных миров и солнце.

— Других миров?

— Да.

— Стало быть, есть еще и другие?

— Да, есть.

— Сколько же их?

— Это никому не известно. Миллионы.

— Миллионы? Боже милостивый!

— Можешь насмешничать сколько угодно, Лем Гулливер, но тем не менее это правда. Существуют миллионы миров.

— Слушай, а ты не мог бы сбить мне парочку, плачу наличными.

— Я все объяснил тебе, а верить или не верить — твое дело.

— Я-то верю, еще бы не поверить. Такой пустячок я готов принять на веру со связанными за спиной руками. А эти миры, Гек, большие или маленькие?

— Огромные. Земля — крошечная планета по сравнению с большинством из них.

— Как мило с твоей стороны допустить такую возможность! Вот оно — истинное великодушие. Оно подавляет меня, я склоняюсь перед тобой!

Лем продолжал свои гнусные издевки, и Людовику стало стыдно за него, он был взбешен несправедливым отношением Лема ко мне; ведь я говорил правду или, по крайней мере, то, что считал правдой. Людовик прервал Лема в самый разгар его пустопорожней словесной пальбы:

— Гек, каковы компоненты Земли и их пропорции? — спросил он.

— Внеси поправку, — снова встрял назойливый прыщ, — назови его планету мыльным пузырем. Если она летает, это — пузырь, если она твердая, это ложь, — ложь либо нечто сверхъестественное. В общем, сверхъестественная ложь.

Я оставил без внимания и этот бессмысленный наскок, и, не удостоив Лема ответом, обратился к Людовику:

— Три пятых земной поверхности — вода. Моря и океаны. Вода в них соленая, непригодная для питья.

Конечно же Лем не упустил случая:

— Чудеса в решете! Пожалуй, тут ты хватил лишку! Чтобы получить столько соленой воды, потребовалось бы десять миллионов горных цепей чистой соли, да и этого было бы мало. Скажи, отчего в море вода соленая? Отвечай сразу, не придумывай сказок. Отчего она соленая?

— Я не знаю, — признался я.

— Не знаю! Как вам это нравится! Не знаю!

— Да, не знаю. А отчего в вашем Великом Уединенном море вода тухлая?

На этот раз счет был в мою пользу. Лем не мог сказать в ответ ни слова. Он сразу сжался, будто ненароком сел на ежа. Я был безмерно рад, как, впрочем, и Луи: таким вопросом можно посадить в галошу кого угодно, уж вы мне поверьте! Дело в том, что вот уже несколько веков ученые не могут разгадать, что питает Великое Уединенное море, откуда туда поступает вода в таком невообразимо большом количестве, и невозможность разгадать эту загадку постоянно волнует умы так же, как ученых Земли волнует загадка происхождения соли в морской воде.

Немного погодя Людовик сказал:

— Три пятых поверхности — огромное количество. Если б вся эта вода вышла из берегов, произошла бы катастрофа, памятная всем людям.

— Однажды так и случилось, — сказал я. — Дождь лил сорок дней и сорок ночей, вся суша скрылась под водой на одиннадцать месяцев, даже горы.

Я думал, что сострадание, вызванное гибелью всего живого, всколыхнет их, но нет — у настоящего ученого всегда на первом месте наука, а уж потом всякого рода переживания.

— Почему суша не осталась под водой? — поинтересовался Людовик. — Почему вода ушла?

— Она испарилась.

— Какое количество воды унесло испарением?

— Вода поднялась на шесть миль, и вершины затопленных гор глядели на долины, погруженные в воду на пять миль. Испарилась толща воды в шесть миль.

— А почему не испарилась остальная вода? Что ей помешало испариться?

Я никогда раньше над этим не задумывался, и вопрос застал меня врасплох. Но я не подал и виду, хоть у меня на миг перехватило дыхание и, возможно, промелькнула озабоченность на лице; чтоб не вызвать подозрения, я лихо-радочно быстро сочинил ответ:

— Там, — сказал я с ощутимым нажимом на слово «там», — закон испарения распространяется лишь на верхние шесть миль. Ниже этого предела он не действует.

Приятели глянули на меня с такой грустной укоризной, что я опустил глаза от стыда. И наступила та гнетущая тишина, изначальное давление которой — тридцать фунтов на квадратный дюйм — возрастает со скоростью тридцать фунтов в секунду. Наконец Лем Гулливер тяжело вздохнул и сказал:

— Право же, это самая ненормальная планета, о какой я когда-либо слышал. Но я не жалею, я уже начинаю привыкать к ее чудесам. Давай еще какой-нибудь фактик, Гек, кидай, я ловлю! Раз, два, три — гони, лихач! Ну, допустим, три пятых — соленая вода, а еще что там есть?

— Материковые льды и пустыни. Но они занимают только одну пятую поверхности.

— Только! Хорошо сказано! Одна пятая материковых льдов и пустынь! Ну и планета! Только одна пя...

Презрительный тон Лема был невыносим; меня будто огнем опалило, я в ярости замахнулся на него, и он осекся.

— Посмотри на свою планету, треть ее... — обидное слово чуть было не сорвалось у меня с языка, но я вовремя спохватился, с усилием стиснул зубы и опустил руку, занесенную для удара. Я воспитывался в культурной среде, и утонченная натура не позволила мне осквернить рот дурным словом. Станные мы существа, с виду — свободны, а на деле закованы в цепи — цепи воспитания, обычаев, условностей, собственных наклонностей, среды, одним сло-

вом — обстоятельств, и даже сильные духом напрасно пытаются разорвать эти цепи. И самый гордый из нас, и самый смиренный пребывают на одном уровне; независимо от чинов и званий все мы — рабы. Король, сапожник, епископ, бродяга — все рабы, и ни один в этой компании ничуть не свободней, чем другой.

Я буквально кипел от ярости; утраченный мир был мне глубоко безразличен, в глубине души я даже презирал его, ибо восхищение новой, столь дорогой мне теперь планетой вошло в мою микробскую плоть и кровь, но презрение Лема к утраченному мной родному дому побудило меня встать на его защиту. Я вскочил, бледный от гнева, и разразился целой тирадой:

— Молчите и слушайте. Я говорил правду и только правду — да поможет мне бог! Земля по сравнению с вашей планетой — как эта равнина без конца и края по сравнению с песчинкой! Но сама по себе Земля — ничто, если соизмерить этот крошечный шарик с миллионами гигантских солнц, плывущих в необозримом пространстве, в то время как этот шарик крутится там одинокий и никем не замечаемый, кроме собственного Солнца и Луны. А что такое Солнце? Что такое Луна? Я вам расскажу и об этом. Солнце в сто тысяч раз больше, чем Земля; это белое пламя, когда оно в зените, его отделяет от Земли 92 000 000 миль. Днем оно посылает на Землю потоки света, а когда ступается ночная тьма, из далекой синевы неба выплывает Луна и обволакивает Землю мягким призрачным светом. Вы не представляете, что такое ночь и что такое день в земном понимании этих слов. Вы знаете свет прекраснее солнечного и лунного — будьте же благодарны за это! На вашей планете всегда день — мягкий жемчужный свет, сквозь который, дрожа и мерцая, пробивается прекрасное нежное пламя опала — будьте же благодарны. Этот свет — ваш и только ваш, ни на одной планете нет ничего подобного, ничто не сравнится с ним очарованием, колдовской красотой и нежностью; ничто не навеивает столь сладких грез, не исцеляет больной ум и сломленный дух.

И крошечная Земля, невообразимый колосс по сравнению с вашей планетой, плывет в одиночестве в безбрежном пространстве. А где же миллионы других планет? Пропали из виду, исчезли, стали невидимками, как только великое Солнце выплыло на небо. Но вот наступает ночь, и они снова перед нами! Думаете, небо заполнили неуклюжие черные громадины? Нет, удаленность, непостижимая для вас, превращает их в сверкающие искорки! Они густо заселяют небосвод, и он оживает, вибрирует, трепещет. Из самой гущи Звезд возникает широкий поток бесчисленных звездных светил и разливается по небу из края в край, образуя изумительную арку из огромных сверкающих солнц, превращенных в мерцающие точки колоссальными расстояниями. А где же моя гигантская планета? Она — в этом потоке, бог знает где! Блуждает себе в необъятном океане мерцающих огней, занимая там не больше места и привлекая к себе не больше внимания, чем светлячок, затерявшийся в глубинах опаловых небес над империей Генриленд!

Раскрасневшись от восторга, Людовик воскликнул:

— Бог мой! Дворец — перед нами! Я верил, что Геку под силу его воздвигнуть!

— Бог ты мой! Сверхъестественная ложь — перед нами! Я знал, что Геку под силу состряпать ее! — отозвался Лем.

Было уже два часа утра, и ход заседания нарушила моя маленькая мыслеграфистка, всегда отличавшаяся пунктуальностью. Приятели собрались было уходить, но потом заявили, что уходить не хочется, и это прозвучало вполне искренне. Людовик сказал, что такая поэма вдохновляет на великие дела и возвышает дух, а Лем Гулливер уверял меня с жаром, что, обладая он моим талантом, он — бог свидетель — не произнес бы ни единого слова правды. Они были растроганы, как никогда. Людовик отметил, что я достиг совершенства в искусстве, и Лем с ним согласился. Луи заявил, что и сам хочет заняться поэзией, а Лем признался, что у него тоже есть такое желание, но оба тут же заверили меня, что и не мечтают достичь моих высот. Благодарили за чудесно проведенный вечер. Я был на седьмом небе от их похвал и не мог найти слов, чтоб отблагодарить Людо-

вика и Лема. Какая разительная перемена после долгой, бедоюйшей душу тоски и отчуждения! Мои безразличныы ко всему нервы, казалось, сбросили с себя привычную апатию, их взбудоражила новая жажда жизни и радости; меня будто подняли из гроба.

Приятели решили немедленно бежать к месту раскопок и рассказать обо всем остальным — на это я и рассчитывал. Осушествится мой план — миссионеры понесут истину всей пастве, и я верну их былое расположение, в этом я ничуть не сомневался. Перед уходом они встали, приветствуя меня, мы сдвинули бокалы и провозгласили тосты:

Луи. За то, чтоб вернулось доброе старое время! Навсегда!

Лем. Пей до дна! Пей до дна!

Гек. Да благословит нас бог!

Затем Людовик и Лем удалились нетвердой походкой, поддерживая друг друга, и затянули песню, которой я научил их в те самые добрые старые времена.

— Гоблсквет лиикдуизан хоооослк! (Домой мы не придем, пока не рассвете-ет!)

Археологическая находка породила в нас такой энтузиазм, что мы решили вести раскопки двадцать четыре часа в сутки, день за днем, сколько потребуется, лишь бы продвинуться в работе как можно больше, пока весть о находке не попала за границу и нам не стали чинить помехи.

Сейчас я был целиком поглощен историей Земли, которую записывал на мыслефон, опасаясь, как бы мои познания в этой области не стерлись в памяти; я намеревался поскорее закончить свой труд, а уж потом как следует поработать на раскопках. История Японии заключала это фундаментальное исследование; завершив его на сегодняшнем сеансе записи, я мог со спокойной душой отправиться в шахту, где нашли останки окаменевшей блохи. Тем временем миссионеры будут делать свое дело, и почему бы мне не уповать на то, что к моменту моего появления там «обращение» завершится, — разумеется, при условии, что я изложу историю Японии как можно подробнее. Так мне казалось, во всяком случае.

К счастью, мыслефон вышел из строя, и требовалось какое-то время на его починку. Если показать Екатерине Арагонской, как ремонтировать аппарат, времени уйдет больше, и я решил прибегнуть к ее помощи. Екатерина Арагонская была очаровательная девушка и к тому же толковая, способная ученица; хоть она и считалась «неболезнетворным» микробом, то есть вышла из народа, из самой гущи забитого трудового люда — малоимущего, угнетаемого, презираемого, что бескорыстно служит смиренной и покорной опорой трону, без чьей поддержки он развалился бы, как карточный домик (а он таковым и является), — хоть Екатерина Арагонская и вышла из этой среды и разумелось, что по природе она глупа, как пробка, Екатерина, как я уже упомянул, была вовсе не глупа. Из-за давней авантюры ее прародительницы в Екатерине Арагонской текла капля вирусно-раковой крови, которая в силу происхождения должна была течь в ком-то другом, и эта крошечная капля оказалась очень важной для Екатерины. Она сильно повысила ее умственные способности по сравнению со средним интеллектуальным уровнем неболезнетворных микробов, потому что вирусы рака чрезвычайно умны и всегда отличались высоким интеллектом. И у других аристократов порой рождаются талантливые дети, но у вирусов рака, и только у вирусов рака, это в порядке вещей.

Екатерина была дочерью моих соседей. Она и ее *geschwister*²⁶ были сверстницами и подружками старших детей семьи Тэйлоров — я говорю о тех, с кем свел знакомство, поселившись в их доме. Хозяйские и соседские дети обучали меня местным диалектам, а я, в свой черед, учил английскому, вернее — подобию английского, вполне подходящему для неболезнетворных микробов, сотни детишек из этих двух семейств, делая вид, что это язык, на котором говорят в Главном Моляре. Екатерина раньше других усвоила английский и стала в нем, как говорится, докой. Разумеется,

²⁶ Geschwister – родня (нем.)

она говорила по-английски с местным акцентом. Я всегда беседовал с ней по-английски, чтобы дать ей разговорную практику, да и самому не позабыть родной язык.

Имя «Екатерина Арагонская» выбрал ей не я. Мне бы это и в голову не пришло: оно вовсе не подходило такой пигалице. В земной микроскоп ее можно было разглядеть лишь при увеличении в тысячу восемьсот раз. Но, разглядев ее, земной исследователь не удержался бы от восторженных восклицаний; ему пришлось бы признать, что она удивительно хороша собой, красива, как кремневая водоросль. Екатерина сама выбрала себе такое имя. Она услышала его случайно, когда мы записывали историю Англии, и пришла в восторг от его звучания, заявила, что это самое очаровательное имя на свете. Она отныне просто не могла жить без него, и потому стала называть себя Екатериной Арагонской. До сих пор ее звали Китти Дейзиберд Тимптон, и это имя вполне гармонировало с ее маленькой изящной фигуркой, свежим цветом лица, беспечностью и придавало ей особую прелесть. Заменяя непроизносимые местные имена на легкие для произношения человеческие, я всегда старался, чтобы имя не вызывало предубеждения и злых насмешек по поводу разительного несходства с тем, кого я им одаривал.

Девушка хотела зваться Екатериной Арагонской, готова была разразиться слезами в случае отказа, и я решил: так и быть; имя подходило к ее внешности и сути не больше, чем последнее прозвище, данное мне Лемом Гулливером, — Нэнси. Лем Гулливер — вульгарен, ему претит всякая утонченность; он считает утонченность натуры признаком феминизации мужчины.

Уж очень ей хотелось, и я сдался, разрешил ей называться Екатериной Арагонской. А услышала она о Екатерине Арагонской совершенно случайно. Это произошло однажды вечером, когда я записывал на мыслефон свои соображения по поводу истории Англии. Мыслефону вы диктуете не слова, а лишь мысли — впечатления: они не проговариваются, не облачаются в слова; вы записываете одним махом, за секунду целую главу, и машина схватывает ваши

мысли на лету, записывает их и увековечивает; отныне им суждено сверкать и гореть вечно, они преисполнены блеска и наряду с этим предельно ясны и выразительны; по сравнению с ними членораздельная речь, даже самая яркая и совершенная, кажется невнятной, тусклой и безжизненной. О, если вы хотите узнать, что такое северное сияние интеллекта, когда все небо объято бушующим пламенем и на землю низвергаются ливни божественных многоцветных огней ослепительной красоты, включите мыслетелефон и послушайте одно из великих творений, которые вдохновенные мастера, жившие миллионы лет тому назад, передали в мечтах этим машинам

Вы сидите перед мыслетелефоном молча, машине диктует не язык, а душа ваша, но порой, увлекшись работой, вы, сами того не замечая, произносите какое-нибудь слово. Именно так получила свое новое имя Екатерина Арагонская. Я записывал впечатления о царствовании Генриха VIII и, разволновавшись при воспоминании о том, как жестоко он обошелся с первой женой, невольно воскликнул:

— Бедная Екатерина Арагонская!

Китти удивилась, что я разразился речью во время диктовки; утратив самообладание, она перестала крутить заводную ручку мыслетелефона и сделала большие глаза. Царственное звучание и музыкальность произнесенного мной имени потрясли Китти, и она с жаром воскликнула:

— О, как это мило, как *recherche*!²⁷ О, я согласилась бы умереть за право называться этим именем! О, я полагаю, оно просто очаровательно!

Улавливаете? Какая смесь жеманства и самодовольства таилась в прелестной крошке! Лексикон выдавал ее с головой. Слово «умереть» было не чем иным, как аффектацией: Китти была микробом и могла думать не о смерти, а лишь о дезинтеграции. Однако ей не пришло на ум сказать, что она готова дезинтегрироваться, лишь бы получить красивое имя, — о нет, это звучало бы слишком естественно.

²⁷ Recherche — изысканно (фр).

Спустя некоторое время мы записывали «Историю Англии от Брута до Эдуарда VIII». Как только Китти явилась в то утро, прервав наше веселое застолье, я заметил в ней разительную перемену: она была серьезна, держалась уверенно и спокойно, даже величаво. Куда делись ее суетливое притязание на успех, манерность, жеманство, глупые фальшивые улыбочки, куда подевались стеклянные «кораллы», латунные браслеты, дешевые побрякушки, искусственные волны прически, прислуживленный завиточек на лбу! В темном платье, простом и опрятном, она была воплощением скромности, ее глаза излучали искренность и чистосердечие; искренность и чистосердечие звучали и в ее голосе. «Вот чудо! — подумал я. — Китти Дейзиберд Тимпלטон больше не существует, подделки под Екатерину Арагонскую больше не существует, подделка превратилась в чистое золото, это подлинная Екатерина, достойная своего имени!»

Пока она возилась с машиной, налаживая ее под моим руководством, я осведомился о причине столь разительной перемены, и Китти ответила без промедления — просто, откровенно, без тени смущения, я бы даже сказал — с радостью и благодарностью. Китти принялась читать книгу «Наука и богатство, с толкованием Библии»²⁸ с намерением выяснить для себя, почему она так популярна в новой секте, которую в народе в насмешку величают «сумбуряне». Вдруг за какие-то десять минут она ощутила в себе перемену, одухотворяющую перемену — плоть ее будто улетучивалась. Китти продолжала читать, и процесс преображения продолжался; через час, когда он завершился, Китти стала воплощенным духом без малейших признаков телесной оболочки.

²⁸ Пародия на книгу Мери Беккер Эдди, сформулировавшей принципы религиозной организации «Христианская наука», дескать излечение от болезней возможно только с помощью веры, а причина всех бед — ошибочное мнение о существовании материи как объективной реальности; материя иллюзорна, так же как болезни, страдания и смерть. М. Твен сыграл большую роль в разоблачении этой организации.

— Екатерина, ты не похожа на дух, ты заблуждаешься, — возразил я.

Но она была уверена, что это — не заблуждение, и воспринимала все так серьезно, что у меня отпали последние сомнения — Китти верила в то, что говорила. Для меня ее слова были бредом, галлюцинацией, часа два тому назад я бы так и сказал. Чувствуя свое превосходство, я взирал бы на Екатерину с состраданием с недостижимой высоты и советовал бы ей выкинуть из головы эту галиматью, явную несуразицу и прислушаться к голосу рассудка. Сказал бы так раньше, но не сейчас. Час-другой тому назад и сейчас были две разные даты. За короткий промежуток времени я сам сильно изменился. Я наблюдал, как два незаурядных ума насмехались над тем, что я знал наверняка, называли мой рассказ галлюцинацией и бредом, а ведь предназначение ученых — скрупулезно и всесторонне исследовать явление природы, отделить факт от вымысла, истину от иллюзии и вынести окончательное суждение; но именно талантливые ученые отмахнулись от моего рассказа о Земле — без малейшего колебания, без малейшего опасения впасть в ошибку. Они думали, будто знают, что другая планета — иллюзия, я же знал, что это реальность.

Перечень известного нам абсолютно точно не так уж велик, и не часто выпадает удача пополнить этот перечень, но в тот день я его, по моему разумению, пополнил. Я понял, что очень рискованно выносить суждения по поводу чужих иллюзий, пока не вникнешь в суть дела. Ты считаешь, что рассказ собеседника — бред, а он, может быть, открыл новую планету.

В душе я был уверен, что Екатерина стала жертвой галлюцинации, но у меня язык не повернулся сказать ей об этом. Мои собственные раны были еще слишком свежи. Мы обсудили ее нынешнее состояние, и Екатерина изложила свои соображения весьма занимательно. Она заявила, что такой вещи, как материя, не существует, материя — выдумка Смертной души, иллюзия. Забавно, ничего не скажешь! Чья иллюзия? Да любого, кто думает не так, как она. До чего же просто: произносишь «иллюзия», и вопрос исчер-

пан! О, боже, мы все устроены на один лад. Каждый из нас знает все и убежден, что знает все, а остальные для него — дураки или заблуждающиеся. Один полагает, что ад существует, другой — что его нет; один утверждает, что высокие тарифы — это хорошо, другой — что это плохо; один — что монархия — лучший строй, другой — что отнюдь не лучший; в одном веке все считают, что ведьмы есть, в другом — что их нет; одна секта верует, что только ее религия — истинная, а остальные 64 500 000 000 сект думают иначе. Среди всех категоричных судей не найдется ни одного, кто превосходил бы по уму представителей и апологетов других воззрений. Но этот забавный факт не смиряет гордыни ни одного из судей и ничуть не уменьшает их непоколебимой уверенности в собственном всезнайстве. Ум — просто упрямый осел, но должно пройти несколько столетий, прежде чем до него дойдет эта истина. Почему мы так уважаем мнение любого человека или микроба, жившего до нас? Клянусь, не знаю. Почему я так уважаю собственное мнение? Ну, это совсем другое дело!

Екатерина утверждала, что нет ни боли, ни жажды, ни заботы, ни страдания — все это фантазии, выдумки Смертной души, ибо, лишённые материи, эмоции могут существовать только как иллюзии, следовательно, они вообще не существуют, коль скоро не существует материи. Екатерина называла эти выдумки «претензиями» и утверждала, что может в мгновение ока справиться с любой из них. Если это, к примеру, боль, то достаточно повторить формулу точно по книге «Научная формулировка бытия», сопроводив ее словами: «Боли не существует», и разоблаченная претензия тотчас улетучится. Екатерина заявила, что так называемых «болезней» нет и в помине, как и «боли», и в длинном перечне микробских болезней-претензий любую можно одолеть методом, описанным выше. Исключение составляет, пожалуй, лишь зубная боль. Это, конечно, выдумка, как и все остальное, но все же лучше показать больной зуб дантисту. В таком поступке нет ничего аморального, противного вере, ибо лечение у дантиста санкционировано самой Основательницей секты «сумбурян», посещав-

шей клинику, где применяется обезболивающий газ, и таким образом осветившей отклонение от принципа.

Екатерина заверила меня, что приподнятое состояние духа — реальность, а уныние — выдумка. В ее душе якобы нет отныне места заботам, горестям, волнениям. Судя по ее виду, так оно и было.

Я попросил Екатерину изложить основные принципы ее секты простыми словами, чтоб я мог понять их и запомнить, и она охотно согласилась:

— Смертная душа, будучи идеей Высшей Рефракции, проявленной и освещенной в Бактерии в координации с Бессмертным духом, пребывающим в неопределенности, каковой является Истина, Всеобщее Благо, проистекающее из необходимости, ускоренной сочетанием с элементами Добро-Добро, Больше Добра, Максимальное и Наивысшее Добро; Грех, будучи выдумкой Смертной души, действует в отсутствие души, и иначе быть не может, ибо закон есть закон и действует вне юрисдикции, и результатом перво-степенной важности является то, что наш дух, освобожденный от материи, является ошибкой Смертной души, и кто бы того ни пожелал, — может. Это — Спасение.

Екатерина спросила, принимаю ли я ее слова на веру, и я ответил, что принимаю. На самом деле я в это учение не поверил и сейчас не верю, но что мне стоило сказать ей пару приятных слов и порадовать Екатерину, вот я и сказал, что верю. Открыть ей правду было бы грешно, а грешить без особой надобности не имеет смысла. Следуй мы этому правилу, наша жизнь была бы чище.

Я остался очень доволен беседой: она еще раз доказала мне, что человеческий ум и ум микроба во многом схожи; люди и микробы способны мыслить, и эта способность, несомненно, ставит их выше всех остальных животных. Чрезвычайно интересно!

Теперь мне предоставилась возможность разрешить вопрос, давно занимавший меня, — об отношении микробов к низшим животным. В своем человеческом существовании я хотел верить, что наши друзья и меньшие братья будут прощены и последуют за нами в благословенное царствие

небесное. Мне было нелегко обрести эту веру: слишком многие придерживались противоположной точки зрения. По правде говоря, я не знаю, на чем основывалась моя вера. И тем не менее стоит мне увидеть, как дружелюбный пес ласково помахивает хвостом и смотрит на меня преданными глазами, будто предлагая любовь за любовь, или пушистый кот без приглашения устраивается вздремнуть у меня на колене, лстя мне своим доверием, или добродушная лошадь, с первого взгляда признав во мне друга, тянется к моему карману в надежде получить сахар (о, если б она могла передать свой нрав роду человеческому и поднять его до уровня своего собственного!) — я каждый раз снова преисполняюсь этой верой наперекор общепринятому мнению.

Когда я обсуждал этот вопрос с оппонентами, они заявили:

— Вы открываете низшим животным путь в царствие небесное на том основании, что они невинны и не совершали зла по закону своего естества, а как быть с москитами, мухами и им подобными? Где вы собираетесь провести грань? Все твари одинаково невинны, где же грань?

На это я обычно отвечал, что не собираюсь проводить никакой грани. Мне не по душе мухи и их друзья, но дело не в этом: то, что человек способен вытерпеть здесь, он способен вытерпеть и там, сейчас же речь идет о высокой материи — о справедливости. Даже по элементарным нормам нравственного поведения несправедливо допустить в рай одно существо, достойное уважения потому, что оно получило жизнь и дух от бога, и не допустить другое. Но эти доводы оказались неубедительными. Моим оппонентом был человек, уверенный в своей правоте, и я тоже был уверен в своей правоте. О чем бы ни зашла речь, ни один из спорщиков не признается, что он не прав. И это оттого, что мы способны мыслить.

Однажды я отправился с этим вопросом к одному добродушному и мудрому человеку, который...

XIV

Этот человек был священником. Он сказал:

— Давайте рассуждать логически; логика — основной закон моей профессии, и это хороший закон. Сумбур в беседе ни к чему не приведет. Если начинаешь с середины и тыкаешься туда-сюда, мешаешь все вопросы в кучу, вместо того чтоб распределить их по значимости, рискуешь заблудиться в трех соснах и ни к чему не прийти. Начнем с начала. Вы — христианин?

— Христианин.

— Что есть тварь?

— Все, что было сотворено.

— Это в широком смысле слова. А имеет ли оно более конкретное значение?

— Да, в словаре сказано: особенно живая тварь.

— Значит, в слово «тварь» мы вкладываем именно этот смысл?

— Совершенно верно.

— Следовательно, оно всегда несет этот смысл, даже без определения?

— Да, всегда.

— Если мы отбросим определение, собака — тварь?

— Разумеется.

— А кошка?

— Тоже тварь.

— И лошадь, и крыса, и муха, и все прочие?

— Естественно.

— В каком стихе на миссионеров возлагается обязанность нести слово божие язычникам — и тем, кто приемлет его, и тем, кто не приемлет?

— «...Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди...»²⁹.

²⁹ «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними...» (Мф. 7:12).

— Нет, там смысл бесконечно шире: «...идите по всему миру³⁰ и проповедуйте евангелие всякой твари». Как, по-вашему, эти слова просты и ясны или туманны и неопределенны?

— По-моему, просты и ясны. Я не усматриваю в них двусмысленности.

— А пожелай вы фальсифицировать смысл этих слов, распространив их только на человека и исключив все другие существа, к какой хитрости вы бы прибегли?

— Это достигается умелой подтасовкой и обманом, но мне по душе изначальный смысл этих слов. Я вовсе не хотел бы исказить их.

— А вы знаете, что простой смысл, заключенный в этих словах, не изменялся и не подвергался сомнению 1500 лет?

— Да, знаю.

— Признаете ли вы, что авторитет отцов церкви³¹ в наше время так же велик, как и авторитет любого богослова, их последователя, и что ни один из них не усомнился в ясности языка этой заповеди и не пытался внести уточнения?

— Да, признаю.

— А известно ли вам, что произошедшая перемена — новейшее течение богословской мысли и что еще три столетия тому назад христианские священники считали, что эта великая заповедь распространяется и на бессловесных тварей, а потому и католические, и протестантские священники проповедовали евангелие животным, почтительно повинувшись незыблемой заповеди?

— Да, мне это известно.

— Что имел в виду господь, повелев идти по всему миру и проповедовать евангелие всякой твари?

³⁰ «Идите по всему миру...» (Мк. 16:15).

³¹ Отцы церкви — видные христианские церковные деятели и богословы — Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Иероним, Августин Блаженный и др.

— Спасение тех, кто слушает евангелие.

— Высказывались ли сомнения, что он преследовал именно эту цель?

— Нет, такие сомнения не высказывались. Это представлялось бесспорным.

— Так вот, если внимательно вникнуть в смысл заповеди и не играть словами, следует сделать один-единственный вывод: божья милость и спасение распространяется на все его создания; царство небесное не станет нам чужбиной, нет. Оно будет нам домом. И все животные будут там.

Наконец-то я услышал разумную, беспристрастную мысль, ясную, справедливую и благородную мысль, созвучную с милосердием, свойственным творцу! Она отринула все мои сомнения, опасения, вернула мне веру, и я вновь ощутил почву под ногами. Священник был прав, его слова проняли меня до глубины души, и я благодарил его в самых прочувствованных выражениях. Вероятно, мои чувства были красноречивее слов, и мой собеседник растрогался. Мне хотелось, чтоб он повторял эти добрые слова снова и снова, бесчисленно, ибо они принесли покой моей душе; священник угадал мою немую мольбу и с жаром произнес:

— Да, все твари будут в царствии небесном. Не беспокойтесь, ни одна созданная им тварь, выполняющая свое предназначение на земле, не будет лишена счастливой обители: они выполнили свое предназначение и заслужили награду, все они будут там — все, вплоть до самого крошечного и ничтожного.

Самого крошечного... Я ощутил легкий холодок в крови. Какое-то смутное подозрение закралось мне в душу. Я рассеянно глянул на него и пробормотал:

— И микробы, разносчики болезней?

Он чуть заколебался, а потом перевел разговор на другую тему.

Так вот, как я уже упоминал, меня всегда волновало, последуют ли за нами в счастливую обитель наши бессловесные друзья, и я решил обсудить это с Екатериной. Я спросил ее, отправятся ли, по ее мнению, за нами в рай собаки,

лошади и другие животные, чтоб там, в царствии небесном, вновь стать нашими баловнями и любимцами. Екатерина сразу же проявила интерес к этой проблеме. Полубопытствовала, известно ли мне, что раньше она была прихожанкой Государственной церкви Генриленда и исповедовала одну из самых распространенных на Блитцовском религию, знаю ли я, что прихожане постоянно обсуждали тот же вопрос, когда поблизости не было духовных лиц, и удивилась — неужели не знаю?

— Да, да, конечно знаю, — поспешно заверил я Екатерину, — просто случайно вылетело из головы.

Признайся я, что никогда об этом не слышал, она бы очень огорчилась, а зачем огорчать ближнего, не сделавшего тебе ничего плохого? Лем Гулливер выложил бы все начистоту; он лишен Нравственного Чувства, ему все равно, справедлив он или нет. Такова уж его природа, и, возможно, он не отвечает за свои поступки. А вот я несправедлив, потому что отвечаю за свои поступки; я не поступаю справедливо, потому что считается добродетельным поступать справедливо, а это, по-моему, низкое побуждение; я поступаю так, потому что... в общем, на то много причин, и я не помню, какая из них главная, и, в конце концов, это не столь важно. Оказывается, Екатерину всегда интересовало, есть ли загробная жизнь у животных; она имела вполне определенные взгляды на этот счет — раньше, разумеется, и она с удовольствием поделится со мной своими соображениями — нынешними, разумеется. Но она не вправе говорить своими словами на религиозные темы: членам ее секты это запрещено, ибо неумелое изложение может привести к ошибке. Потом Екатерина приступила к делу, да так бойко, что я понял: «книгу» она вызубрила наизусть:

— Что касается данного вопроса, то, как учит нас по наитию наша Основательница, верность первозданной Истине в сочетании и в зависимости от промежуточной и пролонгирующей, будучи неизбежно подчиненной ауто-изотермальной и ограниченной подсознанием в данном контакте, всегда спорадичном и доведенном до белого каления,

вследствие чего мысли и поступки тех, кто возносится в Обитель Блаженных, ассимилируются под воздействием истины, освобождающей нас, что иначе было бы невозможно.

Екатерина перевела дух. Очевидно, я слушал ее невнимательно и упустил какое-то связующее звено; извинившись, я попросил Екатерину повторить все с самого начала. Она повторила — слово в слово. Речь вроде бы звучала просто и ясно, но смысла я не улавливал.

— Екатерина, а ты все понимаешь? — спросил я.

— Конечно, — кивнула она.

— Мне кажется, я тоже понимаю, но я в этом не совсем уверен. Как думаешь, кто вознесется в Обитель Блаженных?

— Нам не дозволено толковать текст, толкование искажает смысл.

— Ну, тогда не надо. Не стану притворяться, будто благоговею пред текстом, но все же я не хотел бы, чтоб с ним случилась такая неприятность. Но ты можешь сказать кое-что, не причинив ему вреда, можешь только кивать головой, я все пойму без слов. Сформулируем вопрос иначе: кому не дано вознестись в Обитель Блаженных? Спорадикам или доведенным до белого каления? Спорадикам? Не произноси ни слова, лишь кивни. Кивни или отрицательно покачай головой.

Но Екатерина была начеку: а вдруг кивок расценят как толкование текста, что категорически запрещено?

— Речь идет о животных? Уж это ты можешь сказать?

Екатерина была готова повторять формулировку снова и снова, сколько мне будет угодно, но строгие правила секты не позволяли ей что-либо добавить или выпустить, изменить порядок слов, ибо откровение Божие, им же облеченное в слова, — свято.

Я подумал, что неплохо бы применить это разумное правило к другому священному писанию и парализовать усилия ремесленников — тех, что выкинули животных из этого прекрасного милосердного творения.

— Послушай, Екатерина, — предложил я, — начни-ка все сначала, но медленно. Ты знай говори, а я буду засекаль время. Как только я решу, что хватит, иначе мне не управиться без посторонней помощи, я дам знак, ты остановишься, а я, подхватив конец фразы, наведу порядок; потом ты выдашь еще одну часть и так далее и так далее, пока не доберемся до самого конца. Такой товар лучше всего продавать в рассрочку. Но помни: никакой спешки, медленно и внятно. Готова? Вводи мяч в игру!

— Какой мяч?

— Есть такое выражение. Начинай! Еще раз: готова? Ну!

Екатерина сообразила что к чему и прекрасно справилась со своей задачей. Однотонным металлическим голосом — так звучит молитва, записанная на фонографе, — но, по крайней мере, отчетливо Екатерина вещала:

— Что касается — данного вопроса, — то, как учит нас — по наитию — наша Основательница, — верность перевозданной Истине — в сочетании и в зависимости от промежуточной и пролонгирующей, — будучи неизбежно под...

— Стоп! — сказал я. — На первый раз хватит. Посмотрим, что у нас на руках. Увы! Карты хорошие, но нет пары одной масти. Впрочем, партия не безнадежна. Промежуточная — пролонгирующая — чем не пара?

Ободренный успехом, я сказал:

— Валяй дальше, Екатерина. Сбрасываю три карты, беру прикуп.

Екатерина не поняла меня, и немудрено: с ее-то образованием! Я уклонился от объяснения, заявив, что объяснения запрещаются законами культа. Яд не возымел действия. Я часто жалил Екатерину ядовитыми шуточками только потому, что знал, как она устойчива к яду; он не причинял ей ни малейшего вреда. Я острослов по природе, а когда человек устроен таким образом, ему доставляет удовольствие слушать самого себя. А если окружающие поощряют его искусство, трудно сказать, каких высот он может достичь. Полагаю, что своим высокоразвитым чувством юмора я обязан почти исключительно дядюшке Эссфолту.

Он любил меня слушать, и это побуждало меня оттачивать свое мастерство. Однажды я рассказывал ему про корову, которая... Я уже позабыл эту историю и не помню, что она вытворяла, эта корова, но что-то очень забавное, дядюшка Эсфолт едва не помер со смеху. Колики начались, по полу катался.

— Не ломай себе голову над прикупом, Китти, — сжалился я, — это тоже специальное выражение. С первой попытки нас постигла неудача, используем вторую. Пошла!

Но и вторая попытка кончилась неудачей. Она походила на снег в теплый день: снежинки — совершенство сами по себе — таяли прежде, чем ты успевал скатать из них снежок.

— Испробуем другой способ, — предложил я. — Порой глянешь на трудное предложение в иностранном тексте и сразу понимаешь смысл, а начни копаться в деталях — ты пропал. Будем действовать этим методом. Так вот — никаких запятых, тире или пауз; выпаливаешь все заклинание одним духом — в общем, Эмпайр экспресс, дуй без остановки в Олбани! Раз, два, три — в путь!

Вот это было зрелище! Издалека слышится шум экспресса, мгновение — и он показался вдали, мчится по рельсам с неистовой скоростью, как черт за христианином; еще мгновение — и он с ревом и грохотом пролетает мимо, выдыхая черный дым; еще одно мгновение — и он стремительно скрывается за поворотом, лишь несутся в воздухе листья, клубится пыль да сыплется сверху зола. Вскоре все успокаивается, и уж ничто не напоминает о происшедшем.

Когда мебель перестала кружиться у меня перед глазами и вместо целого хорада Екатерин я увидел одну, я признал, что готов сдаться, если мне позволят сохранить личное оружие. Потом я ощутил горечь поражения и чуть было не ляпнул, что Основательница действительно подарила миру идею — бредовую идею, но вовремя сдержался. Зачем причинять боль Екатерине? Она беззащитна, бедняжка, потому что лишена чувства юмора, с моей стороны

это было бы просто невеликодушно. На ее месте я бы мигом нашелся и язвительно отпарировал:

— У тебя самого бредовая идея!

Но такое немногим приходит в голову. Большинство сообразит, как надо было ответить, лишь на следующий день — вот вам и разница между талантом и подражателями. Талант дает ответ вовремя.

Я заметил, что Екатерину раздосадовала неудача: девушка искренне любила свою новую веру и с огорчением поняла, что она вовсе не имеет триумфального успеха, на который Екатерина рассчитывала. Выражение лица бедняжки было красноречивее слов, и у меня не хватило духу признать, что я потерпел фиаско, пытаюсь найти нефть в этой геологической формации; и тогда я слукавил: сказал, что как-нибудь на досуге я взорву скважину, и фонтан, по моим подсчетам, даст не меньше тысячи баррелей³² в день. Лицо Екатерины озарилось такой радостью, что я немедленно увеличил выход нефти в четыре раза при тех же затратах. Потом я предложил Екатерине записать заклинание на мыслефон, что она не преминула сделать. Я объяснил ей, что, на мой взгляд, заклинание следует дезартикулировать, то есть разложить на первоначальные фонемы. Слова лишь искажают суть заклинания, нарушают ход мысли, вносят полную неразбериху в содержание; мыслефон же превратит словесную руду в кашу, совсем как драга — золотоносную руду, и вот они перед тобой — крупички самородного золота, захваченные ртутью, чистые четыре доллара прибыли, золото высочайшей пробы, высвобожденное из руды. Каждая золотая крупичка цела-целехонька, выловлена из одиннадцати тонн жидкой грязи! Четыре доллара, и в каждом по сотне центов! Ничего, что монета еще не отчеканена, вы имеете полное представление о ее номинальной стоимости — вот что главное, а там, если пожелаете, чеканьте ее, выбивайте на ней профиль Генриха,

³² Баррель (англ. barrel — бочонок) — мера вместимости и объема в США и Англии; нефтяной баррель в США — ок. 159 л.

и она будет ходить альпари³³ по всей империи Генриленд, а в своем первоизданном виде — по всей планете из конца в конец!

Екатерина была в восторге, я даже пожалел, что не оценил заклинание в девять долларов. С минуту я колебался, но угрызения совести заставили меня воздержаться от прибавки. Это означало бы семьдесят шесть центов за тонну, а я был уверен, что эта руда не даст такой выход золота, даже с помощью цианида.

Я вздохнул, и Екатерина тут же пожелала узнать, что меня тревожит; она стала очень отзывчивой, потому что новая религия освободила ее от бремени размышлений о собственных бедах, впрочем, собственных бед у нее теперь не было.

— Мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь о животных, последуют они за нами в мир иной или нет, — начал я. — Видишь ли, Китти...

— Графиня! — крикнула Екатерина, подбежав к окну. — Вон там у пожарного крана дремлет брат Пьорский. Подойдите к нему, попросите его, пожалуйста, зайти сюда на минутку! — Екатерина объяснила: — Пьорский с удовольствием побеседует с вами на эту тему. Он очень славный. Помните, он как-то заходил сюда, собирал пожертвования? Не помните? С тех пор, правда, прошло несколько лет, но я думала, у вас на памяти этот случай. Пьорский — вроде священника, только называется по-другому: в его секте священников нет, а есть братья — так их прихожане называют. Он был моим духовником до того, как я стала прихожанкой Государственной церкви, или еще раньше... нет, пожалуй до того или примерно в это время.

— Почему ты не ведешь учет?

— Учет чего? — спросила Екатерина, снова направляясь к окну.

— Духовных занятий. Составила бы график.

— Зачем?

³³ Альпари — полное соответствие номинальной цены бумажных денег металлической валюте.

О, это бессмысленное «зачем»! Как часто мне приходилось слышать его от Екатерины! У нее был очень стойкий иммунитет к юмору, шутки до нее не доходили.

— Ага, она растолкала Пьорского, что-то ему говорит, а он... он снова укладывается. Но ничего, он не забудет о приглашении, вот стряхнет с себя дремоту и явится.

— Дремоту? А я-то полагал, что микробы не спят. Во всяком случае, в Главном Моляре не спят.

— А Пьорский не как все. Ума не приложу — почему. Ученые только руками разводят. Пьорский — нездешний, родом он из джунглей Мбумбум (ударение на третьем слоге от конца). Живет там вдалеке от всех маленькое племя, никто его толком не знает, называется флаббрузек. Господи, что с вами? — воскликнула Екатерина.

Я извинился — не беспокойся, ничего особенного, просто колотье в боку. Это была чистая правда, однажды со мной уже приключалось нечто подобное, еще в Америке, я хорошо помню этот случай, тогда все кончилось благополучно. Название племени — вот что заставило меня подскочить на месте! Так именуется редкий таинственный микроб — возбудитель страшной африканской сонной болезни. Ее жертва погружается в тяжелый летаргический сон, похожий на смерть. Она лежит в таком состоянии неделями, месяцами, а родные в отчаянии умоляют ее открыть глаза — ну, хоть на минутку — и подарить им прощальный любящий и благословляющий взгляд! Но, увы! Пусть их сердца разорвутся от боли — для того и сотворена эта болезнь — жертва никогда больше не откроет глаза.

Какой, однако, странный и любопытный факт — то, что ни один микроб на густонаселенной планете Блитцовского не считает себя вредоносным существом! Услышав это, они бы очень удивились и почувствовали себя оскорбленными до глубины души. То, что знатные едят незнатных, в порядке вещей, так уж им судьбой предназначено, в этом нет ничего плохого, скажут они, ведь и простонародье, в свою очередь, кого-то ест, и это тоже не возбраняется; оба сословия питаются плотью и кровью Блитцовского, и это тоже справедливо, предназначено свыше и не считается за

грех. Не ведая, что творят, микробы заражают Блитцовского болезнями, отравляют его и даже не догадываются об этом. Микробы не знают, что Блитцовский — животное, они принимают его за планету; для них он — скалы, земля, ландшафт, они считают, что он создан для них, микробов, они искренне восхищаются Блитцовским, пользуются им, возносят за него хвалу богу. А как же иначе? В противном случае они были бы недостойны тех милостей и щедрот, которыми их так щедро осыпали. Я не мог бы проникнуться этой мыслью так глубоко, если бы сам не был микробом, ведь раньше я и не задумывался над этой проблемой. Как мы похожи друг на друга! Все мы думаем только о себе, нам безразлично, счастливы другие или нет. В бытность свою человеком я всегда норовил захлопнуть дверь перед голодным микробом. Теперь я понимаю, каким я был эгоистом, теперь я устыдился бы такого поступка. И любой человек, верующий в бога, должен испытывать такое же чувство. Ну как не пожалеть микроба, он такой маленький, такой одинокий! И тем не менее в Америке ученые пытаются их, выставляют на позор голыми перед женщинами на предметных стеклах микроскопов, выращивают микробов в питательной среде лишь затем, чтоб потом мучить, постоянно изыскивают новые способы их уничтожения, позабыв и про день субботний. Все это я видел своими глазами. Я видел, как этим занимался врач, человек вовсе не равнодушный к церкви. Это было убийство. Тогда я не понимал, что на моих глазах совершалось убийство, именно убийство. Врач и сам это признавал; полушутя, нимало не задумываясь над страшным смыслом своих слов, он именовал себя микробоубийцей. Когда-нибудь он с горечью убедится, что разницы между убийством микроба и убийством человека не существует. Он узнает, что и кровь микроба вопиет к небу. Ибо всему ведется строгий учет, и для Него не существует мелочей. Екатерина рассказала мне, что брат Пьорский — член секты великодушия, и это очень хорошая секта, а Пьорский — лучший из лучших. Они с братом Пьорским всегда симпатизировали друг другу с той поры, когда Екатерина числилась в его сек-

те, и, что приятно, взаимная симпатия сохранилась. А графиня посещает Государственную церковь: выйдя замуж, она стала знатной дамой, а аристократкам не подобает искать окольных путей в обитель спасенных; по натуре она добрая и хорошо относится к брату Пьорскому, а он — к ней.

— Она иностранка, графиня-то. Из Р. С. родом.

— Что такое Р. С.?

— Республика Скоробогатия, там она считалась настоящей леди, а здесь ей о своем происхождении (она вышла из Е. С. Х.) надо помалкивать и помнить свое место.

— А что такое Е. С. Х.?

— Едоки Соленого Хлеба.

— Почему «соленого»?

— Да потому, что он заработан тяжким трудом и соленый от пота.

— Значит, его солит труд?

Екатерина расхохоталась: вроде бы взрослый, а не знает прописных истин! Но я заметил, как в ее глазах вспыхнул всем хорошо знакомый радостный огонек. Я не огорчился: такой огонек зажигается у нас в глазах, когда мы, по нашему мнению, обнаружили нечто, неизвестное другому, и, обрушив на него информацию, можем заставить ошарашенного слушателя восхищаться нами. Екатерине нечасто выпадал случай сообщить мне новый факт, но зато ей нередко удавалось представить общеизвестный факт в новом свете, если я изображал полное неведение и делал вид, будто и сам факт — бесценный вклад в мою сокровищницу. Поэтому я обычно изображал полное неведение. Порой я извлекал пользу из этой политики, порой — нет, но в целом она себя оправдала.

Итак, Екатерина расхохоталась, услышав мой вопрос. Она повторила его, чтоб еще раз насладиться моим забавным невежеством.

— Его солит труд? Да разве вы не знаете... — начала было она, но смущенно осеклась.

— В чем дело? — поинтересовался я.

— Вы смеетесь надо мной.

— Смеюсь? Почему?

- Потому.
- Почему «потому»?
- Да вы сами прекрасно знаете.
- Ничего я не знаю. Честное слово.

Екатерина посмотрела мне прямо в глаза и сказала:

— Когда вы шутите, я это сразу чувствую. А теперь я вас серьезно спрашиваю и вы тоже отвечайте серьезно. Вы когда-нибудь слышали про такую страну — большую страну, — где хлеб зарабатывают не в поте лица?

Теперь пришел мой черед смеяться! Я захохотал, но вдруг что-то заставило меня внезапно смолкнуть, что-то подсказало мне: а вопрос не так глуп, как кажется. Я задумался. Перед моим мысленным взором предстали великие народы, живущие на той и на другой планете, и вскоре я нашел ответ:

— Вопрос показался мне глупым, Екатерина, но, если поразмыслить хорошенько, он совсем не глуп. Мы нахватились идей, о которых знаем лишь понаслышке, не потрудившись проверить, подкрепляются они статистикой или нет. Есть одна страна — я беседовал с ее гражданами, — где слова «гордость труда» у всех на устах, где стало неоспоримой истиной, что труд достоин уважения, где все постоянно твердят, что заработанный хлеб — самый лучший хлеб и возвышает того, кто его заработал, до уровня самых почетных граждан страны, а дармоеды и тунеядцы покрывают себя позором. Аборигены произносят эти слова с большим чувством, полагают, что верят в то, что говорят, и гордятся своей страной, ибо она — единственная в мире, где труженики являются признанной аристократией. Но стоит присмотреться поближе и...

— Я знаю, о какой стране вы говорите. Это Р. С. Ну скажите прямо, это Скоробогатия?

— Да, это Республика Скоробогатия.

— Я сразу догадалась. Графиня все время про нее рассказывает. Когда она жила в Скоробогатии, она любила свою страну, а теперь презирует ее и говорит об этом без утайки. Но, конечно, она так рассуждает, чтоб никто вокруг не сомневался, что она переменилась и стала монархисткой, и

знаете, графиня и вправду настоящая монархистка: послушаешь ее, так она скорей сойдет за уроженку Генриленда, чем сами генрилендцы. Говорит, что все эти проповеди о гордости труженика — сущее надувательство. Механика та же, что и везде. Тружеников на обед не приглашают — ни водопроводчика, ни плотника, ни дворецкого, ни кучера, ни матроса, ни солдата, ни портового грузчика, — так уж заведено в этой стране. Ни адвокат, ни врач, ни профессор, ни торговец, ни священник их в свой дом на обед не пригласят; а уж богачи-бездельники их на дух не выносят. Графиня говорит, на кой черт...

— Т-ш-ш... Екатерина, ты меня удивляешь!

— Но ведь графиня сама так сказала. Им, говорит, начинать...

— Да замолчи же! Оставь эту привычку подбирать и таскать домой все гадкие слова, которые...

— Но она так сказала, я своими ушами слышала! Стукнула кулаком по столу — вот так — и говорит: «На кой ляд...»

— Неважно, что она сказала. Я и слышать об этом не хочу! Ты простофиля, какой свет не видывал. Хватаешь все без разбору, что ни подвернись под руку, будто это бог знает какое сокровище. С тех пор как появился язык, не было еще такой любительницы покопаться в отбросах. Е вообще, выкинь эти словечки из головы и снова начни с того места, где они сбили тебя с пути.

— Ладно, начну сначала, извините, если сболтнула лишнего, я вовсе не хотела вас обидеть. А сказала графиня вот что: если, к примеру, дочка банкира выходит замуж за водопроводчика, или дочка мультимиллионера берет в мужья редактора газеты, или же епископская дочка идет за ветеринара, или губернаторская дочка — за кучера, тут такая кутерьма начинается — сам черт ногу сломит.

— Ну вот, ты опять за старое!

— Так это же ее слова!

— Я знаю, но...

— А еще графиня говорила, что, мол, те, которые сидят наверху, — всякие шишки, стараются вообще не выдавать своих дочек за местных микробов. Держат их в девках, по-

ка не пожалует какой-нибудь заграничный вирус, с титулом, вот тогда, если они сойдутся в цене, и заключают сделку. Правда, аукцион они не устраивают, во всяком случае — публичный. Графиня — просто прелесть, а говорит — заслушаешься. И доброты, и злости — всего в ней хватает, зато занудства нет и в помине. Она завела много друзей. У нее золотое сердце, вставные зубы, стеклянный глаз. Помоему, она совершенство.

— Да, это верные признаки.

— Очень мило с вашей стороны. Я была уверена, что вы так скажете. Графиня очень содержательная. На мой взгляд, она очень, очень интересная женщина. К тому же она родилась от морганатического брака³⁴.

— Морганатического?

— Да, именно морганатического.

— Откуда ты знаешь?

— Все так говорят. Не она сама, а другие. Соседи, к примеру. Так и говорят — от морганатического брака.

— Как это случилось?

— Видите ли, ее мать — червеобразный отросток.

— Вот те на!

— Во всяком случае, так говорят. Кто отец — неизвестно. Известно только про мать. Она — червеобразный отросток. Брак был морганатический.

— Тьфу, пропасть! При чем тут морганатический брак?

— При том, что он незаконный. Все говорят, что червеобразный отросток вообще не имеет права заводить семью, это небывалый случай; врачи не верили, что такое может произойти, пока это не произошло. Червеобразный отросток вступил в брак, да еще незаконный. Как это назовешь? Все

³⁴ Морганатический брак (от лат. *matrimonium ad morganaticum*) — «брак с утретним подарком». Когда европейские монархи женились на женщинах не королевского рода, они подавали невесте левую руку во время обряда, что означало: брак не дает права престолонаследия ни жене, ни детям, а утром жена получала в компенсацию дорогой подарок.

говорят — морганатический брак. Кое-кто, правда, добавляет: более чем морганатический, но я думаю, что так далеко дело не зашло. А вы как считаете?

— Провалиться мне на этом месте, ничего тут нет морганатического, ничего похожего. Все это бред сумасшедшего, самый настоящий бред. И откуда у микробов столько злости, зачем попусту пятнать доброе имя графини?

— Да с чего вы взяли, что они пятнают ее доброе имя?

— А разве нет?

— Конечно, нет. Никто не посягает на ее доброе имя. Графиня не виновата. Она совершенно ни при чем. Графиня просто находилась там, когда это случилось. Еще минута — и было бы слишком поздно.

— Подумать только! Будь я проклят, Екатерина, если ты не мастер выделять самые неожиданные виражи и высказывать в самых неожиданных местах. Понять эту путаницу, эту сумятицу мыслей, эту словесную неразбериху совершенно невозможно; твои сумбурные речи любого соблюют с толку и заморочат так, что он не отличит их от священных цитат из «Науки и богатства»: они удивительно схожи!

Я спохватился, что у меня сорвались с языка обидные слова. Но раскаивался я лишь полсекунды. Екатерина залучилась от благодарности и счастья. Ей мои слова не показались колкостью. Ядовитые стрелы не достигли цели. Екатерина приняла колкость за комплимент. Я поспешил вернуться к теме разговора.

— Рад, что репутация графини не пострадала, и вдвойне рад, что есть еще цивилизация, где не утратили стыда и не обливают презрением невинные жертвы. Значит, добрые и справедливые микробы уважают графиню?

— О да, во всяком случае, за то, о чем я вам рассказывала. Это очень важно для нее и выделяет ее среди прочих.

— Каким образом?

— Ну как же! Она здесь единственная возбудительница аппендицита. В аппендиксах у окружающих таких микробов много — у тех, кто лежит в больницах, у тех, кто пока не лежит, — но только она вырвалась наружу, родилась. От

незаконного морганатического брака, но дело даже не в этом. Она — единственная за всю историю, а это — великая честь. Хотела бы я оказаться на ее месте.

— Ах, черт...

XV

Екатерина продолжала трещать, не обращая внимания на мою попытку воззвать к помощи черта. Она вела рассказ в своей обычной небрежной манере — сделает сальто назад, отклонившись от темы на тридцать ярдов, потом вперед и приземляется чуть правее мысли, которую не успела закончить час тому назад. Подхватив эту мысль, Екатерина как ни в чем не бывало продирается с ней сквозь чащу слов, будто и не бросала ее без призора.

— Вот и получается, что нет ни одной большой нации, где заработанный хлеб не просолен потом, хоть вы и утверждали из упрямства, будто это вовсе не так (я не утверждал ничего подобного, но, чтоб не тратить попусту время и силы, не стал заводить спора). Графиня говорит, что там, в Скоробогатии, — сплошной обман и надувательство; да если бы и существовал великий народ, у которого разговоры про честно заработанный хлеб не были бы надувательством, где б ему и жить, как не в Скоробогатии? Там и республика, и самая великая на планете демократия, и общество равных возможностей — бог знает каких возможностей, как графиня говорит. Ее послушать, так обман начинается с самой верхушки и идет сверху вниз; в нем участвуют все без разбора, и ни один черт (Осторожно! — сказал я), и никто во всей стране его не замечает. Все, говорит, будто ослепли от фальшивого блеска этой лжи.

А рангов, званий и каст — миллион, говорит. Потому и мезальянсы, куда ни глянь. Где им и быть, как не в Скоробогатии, ведь там разной знати и аристократов побольше, чем в любой другой стране. Есть, говорит, в этой республике такие семейки, что для них и сам президент — неподхо-

дящий жених, во всяком случае, пока он не станет президентом. А в президенты почти всегда выходят Едоки Соленого Хлеба — дубильщики, лесорубы, портные, сторонники сухого закона и прочие лица низкого звания; им приходится прокладывать себе путь наверх, и они очень долго его прокладывают, а пока доберутся до этих семейств, глядишь, уже поздно: дочери просватаны. Они считают, что это — путь наверх, говорит графиня, все так считают. И все восхищаются тем, кто проложил себе путь наверх, безмерно восхищаются его нынешним положением, его респектабельностью. Они не скажут в порыве гордости и великодушия: «Посмотрите на него — прекрасный труженик, настоящий Едок Соленого Хлеба, лесоруб!» Нет, в порыве гордости и великодушия они воскликнут: «Посмотрите на него — куда залетел! А ведь, подумать только, вышел из простых лесорубов!»

А преуспевший заявляет, что не стыдится своего происхождения, ему-де нечего стыдиться, это для него, в его нынешнем положении, — честь, великая честь. Можно подумать, что он и своих сыновей сделает портными, дубильщиками или лесорубами³⁵. Может, такие случаи и были, говорит графиня, только она ни одного не помнит. Вот такие дела. А вам пора спуститься с облаков.

— Что значит «спуститься с облаков»?

— Пора спуститься с облаков и признать это.

— Что признать?

— А то, что заработанный хлеб просолен потом на всей планете Блитцовского, будь то республика или монархия. Едоки Соленого Хлеба создают нацию, делают ее великой, уважаемой, могущественной; трон держится на Едоках Соленого Хлеба, не то — пылиться бы тронам в лавках старьевщиков; благодаря Едокам Соленого Хлеба национальный

³⁵ «...портными, дубильщиками и лесорубами» — М. Твен обыгрывает прозвища и фамилии американских президентов. Лесоруб — прозвище А. Линкольна, фамилия двенадцатого президента США — З. Тейлор, что значит «портной».

флаг и реет так красиво, что слезы гордости подступают к глазам; не будь Едоков Соленого Хлеба, великие князья валялись бы под забором, как свиньи, сидели бы по тюрьмам и кончали свой век в богадельнях; не будь Едоков Соленого Хлеба, на всей планете не осталось бы ничего маломальски хорошего, и черт меня дери...

— О, ради бога!

— Но сама графиня так выразилась. Говорит, черт меня...

— Замолчи, пожалуйста, я же просил...

— Но она именно так выразилась, графиня. Подняла сжатый кулак, сверкнула глазищами да как пошла сыпать самой что ни на есть отборной бранью — разрази меня гром, чертам в аду тошно стало!

Благодарение богу, раздался стук в дверь. Это явился великодушный брат, весьма внушительный возбудитель сонной болезни.

У Пьорского были мягкие манеры и доброе, располагающее лицо, как у всех болезнетворных, смертоносных и, следовательно, высокорожденных микробов; обходительность и доброе лицо у них — видовые черты и передаются из поколения в поколение. Сам он не ведал, что несет смерть, что любой аристократ несет смерть; ни сном ни духом не знал страшной истины: все аристократы смертоносны. Один лишь я на всей планете Блитцовского знал эту жестокую правду и то потому, что постиг ее на другой планете. Пьорский и Екатерина сердечно приветствовали друг друга; согласно здешнему этикету, она опустилась перед ним на колени, потому что была родом из Едоков Соленого Хлеба, а он — из аристократов голубой крови Пьорский ласково потрепал Екатерину по щеке и велел подниматься. Потом она ждала, пока он даст ей знак, что можно садиться. Мы с ним церемонно раскланялись, и каждый почтительно указал другому на стул, сопроводив взмах руки величавым: — Только после вас, милорд!

Наконец мы разрешили эту проблему, опустившись на стулья с точно рассчитанной синхронностью. У него была с

собой небольшая прямоугольная коробка, которую Екатерина приняла, непрестанно кланяясь.

Мудрый старый джентльмен, брат Пьорский, мгновенно оценил обстановку: в сомнительном случае лучше ходить с козырей. Он, конечно, понимал, что я — высокорожденный, он мог предполагать, что во мне течет благородная кровь, а потому, не задавая лишних вопросов, обошелся со мной как с благородным. Я последовал его примеру и тоже, не задавая вопросов, произвел его в герцоги.

Брат Пьорский жевал Едока Соленого Хлеба, которого словил по дороге сюда, — ел его заживо, как здесь принято, а тот визжал и выкручивался. У меня слюнки текли при виде упитанного, сочного и нежного месячного малыша, ведь я ничего не ел с тех пор, как приятели ушли в два часа ночи. Такого толстяка хватило бы на целую семью, и, когда брат Пьорский предложил мне ногу малыша, я не стал отказываться для виду и притворяться, что сыт, — нет, я взял ее и, признаться, ничего вкуснее в жизни не пробовал. Это был пектин, весенний пектин, а хорошо откормленный пектин — пища богов.

Я знал, что Екатерина голодна, но такая дичь — не для нее. Едоки Соленого Хлеба едят благородных, если выпадает случай, — военнопленных или павших на поле боя, но Е. С. Х. не едят друг друга. В общем, мы угостились на славу и выкинули объедки матери пектина, рыдавшей под окном. Она была очень благодарна, бедняжка, хоть мы не ждали благодарности за такой пустяк.

Моя мечта — взять с собой в лучший мир братьев наших меньших, низших животных, чтоб и они блаженствовали вместе с нами, — нашла живой отклик в сердце брата Пьорского. Он растрогался и заявил, что это — самая благородная и милосердная идея, что он разделяет ее всей душой. Прекрасные, вдохновляющие, окрыляющие слова! А когда брат добавил, что он не только страстно желает переселения животных в лучший мир, но и твердо верит, что так оно и будет, что у него нет и тени сомнения, чаша моего счастья переполнилась до краев. Мне всегда не хватало такой поддержки, чтобы укрепиться в собственной ве-

ре, чтоб она стала незыблемой и совершенной, и вот теперь она стала незыблемой и совершенной. Наверное, в тот момент не было микроба счастливее меня от Генриленда до Скоробогатии, и от Главного Моляра до Великого Уединенного моря. Оставался лишь один вопрос, и я задал его без колебания и страха:

— Ваша милость, включаете ли вы в их число все существа, даже самые зловредные и мелкие — москитов, крыс, мух и всех прочих?

— Разумеется, и всех прочих! Даже невидимых и смертоносных микробов, которые живут нашей плотью и заражают нас болезнями!

Звездочками я пометил время, через которое вышел из шока. Да, как странно мы устроены! Я всегда желал, чтобы кто-нибудь произнес эти слова, разрешив недвусмысленно и справедливо проблему всех невинных и живущих по закону естества своего существ. Много лет тому назад я ждал (и безуспешно!), что это сделает справедливый и великодушный священник, и вот теперь, когда мысль наконец-то изречена, меня чуть не разбил паралич!

Герцог заметил мое смятение. И немудрено: оно было у меня на лице написано. Мне стало стыдно, но я ничего не мог с собой поделать — не стал изворачиваться, придумывать оправдание, — словом, оставил все как есть. Это лучший способ, если вас захватили врасплох и вы не видите выхода из создавшегося положения. Герцог проявил редкое великодушие — ни укора, ни насмешки — и такт; он принялся рассуждать, подтверждая свои рассуждения фактами.

— Вы ставите предел, проводите грань; пусть это вас не тревожит: было время, когда и я поступал так же. Тогда мне недоставало знаний, широты кругозора, знание мое было неполным, как ваше. Мой долг — пополнить и скор-

ректировать ваши знания. Тогда вы поймете, в чем правда, и все ваши сомнения отпадут сами собой. Я приведу факты. Спор может завести далеко, но только факты дают возможность сделать выводы. В этой комнате есть много доказательств того, что вы занимаетесь наукой, милорд, но вы невольно обнаружили то, что одной из величайших областей науки — бактериологией вы пренебрегли. Скажем, не совсем свободно ориентируетесь в этой области. Вы со мной согласны?

Что я должен был ответить? В земной бактериологии я был крупнейшим непревзойденным специалистом; мне за неделю удавалось сделать больше, чем Пастеру за год. Но разве я мог сказать об этом герцогу? Он бы не понял, о чем речь. А что касается бактериологии на Блитцовском, — боже правый! — я и понятия не имел, что существуют бесконечно малые микробы, заражающие болезнями микробов! Порой я размышлял на досуге о том, существуют ли на Блитцовском крошечные двойники земных микробов с теми же повадками, с тем же предназначением, но никогда не считал, что эта проблема заслуживает глубокого изучения. Взвесив все обстоятельства, я решил сказать герцогу, что ничего не знаю о бесконечно малых микробах и вообще несведущ в бактериологии.

Он ничуть не удивился, и это меня слегка покорило, но я не подал виду и не стал брюзжать. Герцог встал и принялся налаживать один из моих микроскопов, бросив вскользь, что он-де не совсем заштатный бактериолог, из чего следовало, что он — первый бактериолог планеты. Мне ли не знать этой песни! Знал я и старый испытанный способ подыграть певцу и сказал, что шел бы себя сущим невеждой среди ученой братии, если б не знал то, что известно всем вокруг. Герцог извлек из коробки предметное стекло и установил его под микроскопом. Покрутив винтики, он отрегулировал микроскоп по глазам и предложил мне взглянуть.

Что кривить душой — я был искренне потрясен! Старый знакомый плут, которого я тысячу раз видел под микроскопом в Америке, предстал передо мной в виде невооб-

разимо маленького близнеца, своей точной копии. Это был пектин — весенний пектин, — до смешного схожий с тем мамонтом (все познается в сравнении!), которого мы только что съели! Ну не забавно ли? Меня так и подмывало сострить: давайте, мол, подцепим эту крошку кончиком иголки и скормим его комару, а объедки бросим матери. Но я сдержался. Герцог, похоже, не отличался чувством юмора. Вряд ли его очаруешь, напомнив ему об этом недостатке, только вызовешь стыд и зависть. Я смолчал, но это потребовало от меня известного напряжения.

XVI

Брат Пьорский сделал краткий вступительный обзор в профессорском стиле: весьма неопределенно, как импрессионист, наметил общие положения, на которых был намерен остановиться, а потом приступил к делу. На этом этапе он перешел с местного наречия на высочайший, чистейший диалект бубонной чумы, на котором изъяснялся с французским акцентом — во всяком случае, сходным по звучанию. На диалекте бубонной чумы принято говорить при всех королевских дворах планеты Блитцовского, а в последнее время он стал и языком науки, ибо обладал несколькими высокими достоинствами, в том числе — точностью и гибкостью. Замечу, кстати, что научное название всех разновидностей микробов на этом языке — суинк³⁶. Каждый микроб — суинк, каждая бактерия — суинк и так далее; как на Земле немец, индеец, ирландец и люди других национальностей называются словом «человек».

— Начнем с начала, — сказал брат Пьорский. — Огромная планета, которую мы населяем, где учреждены наши

³⁶ Суинк — В староанглийском языке было существительное «swink», означавшее «тяжелый труд».

демократии, республики, королевства, церковные иерархии (теократии), олигархии, автократии и прочая суета сует, была создана для великой и мудрой цели. Ее сотворение — не случайность; оно — стадия за стадией — продолжалось согласно тщательно разработанному систематизированному плану.

Планета была создана для великой цели. Какова же была цель? Дать нам дом. Именно дом, а не среду обитания, не балующую нас комфортом. Планета была задумана как дом, полный всяческих удобств и разумных, трудолюбивых низших существ, призванных обеспечивать нам эти удобства. Каждый микроб сознает сказанное мной, каждый микроб с благодарностью помнит об этом. А если микроб и кичится немного своим высоким положением, слегка тщеславится своим величием и превосходством, то это простиительно. И то, что микроб с собственного единодушного согласия украшает себя державным титулом Венец Творения, тоже простиительно, ибо куда надежнее присвоить себе титул, чем выставить свою кандидатуру на выборах и, возможно, провалиться.

Итак, планета создавалась с определенной целью. Сразу ли после создания ее отдали во владение микробам? Нет, они погибли бы с голоду. Планету надо было приспособить для них. Что это был за процесс? Давайте создадим маленькую планету — в воображении — и посмотрим.

Берем землю, рассыпаем ее. Представим себе, что это — сад. Создаем воздух, увлажняем его. Воздух и влага содержат необходимую для жизни пищу в виде газов — пищу для растений, которые мы намерены вырастить. Добавляем в почву и другую пищу для растений — калий, фосфор, нитраты и тому подобное. Пища в изобилии, растение поглощает ее, накапливает энергию, вырывается из семян, растет. И вот уже наш сад полон злаков, ягод, дынь, овощей и всевозможных вкусных фруктов. Пищи столько, что может прокормиться не только Венец Творения, но и лошадь, корова, другие домашние животные, саранча, долгоносик и прочие вредные насекомые; создаем их и при-

глашаем к столу. А за ними — льва, змею, волка, кота, собаку, канюка, грифа и им подобных.

Итак, созданы хищники, но время для них неблагоприятное; не могут же они питаться растительной пищей! Им приходится жертвовать собой ради великого дела. Они — мученики, хоть и не добровольные. Без пищи хищники погибают

На этой стадии создаем суинков; они являются на сцену жизни с миссией огромной важности. Суинков — несметное количество, потому что от них и ждут многого. Вы представляете, что бы произошло, если б они не появились? Всемирная катастрофа! Наш сад исчерпал бы все запасы пищи, скрытой в почве, — нитраты и прочие питательные вещества; ему пришлось бы существовать на скудной диете, получаемой из воздуха, — окиси углерода и прочих газах, он голодал бы все больше и больше, терял бы все больше и больше сил и наконец, испустив последний вздох, скончался. А с ним — все животные и Венец Творения. Планета превратилась бы в безжизненную пустыню, где не услышишь ни пения птиц, ни рыка хищника, ни жужжания насекомых, ни других признаков жизни. Моря засохли бы и исчезли, не осталось бы ничего, кроме беспредельных пространств песка и камня. Играет ли незаметный суинк важную роль в системе мироздания? Несомненно. Как назвать его, каким титулом величать? Сам он, не в пример микробам, скромн и не присвоил себе никакого титула. Дадим ему звание, соответствующее его заслугам. Он — лорд—протектор Венца Творения, Спаситель планеты. Давайте посмотрим, как он работает, ознакомимся с его методами

Суинк появляется на сцене, когда ему положено явиться, в свой назначенный час. Микроб прекрасно себя чувствует, он сыт, и то же самое можно сказать о корове, лошади и любом другом травоядном, а вот тигры, собаки, кошки, львы и прочие хищники подышают с голоду без мяса. Суинк набрасывается на трупы и экскреции животных, питается ими, разлагает их и освобождает массу кислорода, азота и других столь необходимых растениям веществ; ли-

ства растений усваивают эту пищу, за исключением азота, который они получают позже, благодаря трудам других видов суинков.

Все идет как надо, планета спасена. Растения вновь получают питание и буйно разрастаются. Поглощая кислород, азот, растения вырабатывают альбумины, крахмал, жиры и много других веществ; они попадают в организм животных, которые кормятся ими и растут; животные, в свою очередь, переваривая эти вещества, вырабатывают различные соединения. Некоторые из них животные выдыхают в воздух, а растения улавливают их и поглощают, другие уходят в экскреции и, восстановленные суинками, снова попадают в растения. Когда животное умирает, суинк разлагает его, высвобождая остальные элементы, и те возвращаются в землю.

Таким образом, происходит вечный круговорот: растения поглощают пищу и насыщаются, животные поедают растения и насыщаются, суинк восстанавливает продукты питания, наполняя закрома для растений; растения снова поглощают их и передают животным. Ничто не теряется, ничто не пропадает зря; новых блюд нет, да никогда и не было, меню всегда одно и то же — роскошное, но неизменное, и сама пища не изменилась с тех пор, как ее впервые поставили на стол при сотворении мира. Ее подогревали, жевали, пережевывали, жевали, жевали, жевали, жевали снова и снова, на каждом этапе жизни, в какой бы форме она ни проявлялась — на земле, в воде, в воздухе — с первого дня и до нынешнего.

Какой поразительный механизм, какой потрясающий механизм, какая точность, какое совершенство — чудо из чудес! Я не нахожу слов, чтоб выразить его грандиозность.

Теперь исключите суинка из системы мироздания, и что же останется? Камни и песок, голые камни и песок. Исчезнут леса, исчезнут цветы, исчезнут рыбы в море, птицы в небе; опустеют храмы, опустеют троны, города обратятся в прах и развеются ветрами. Армии, знамена, приветственные клики — куда все подевалось? Вы слышите звук? Это

всего лишь бродяга-ветер, это стонет бродяга-ветер. А другой звук слышите?

Печалью туманится моря лик.
Кривится горестно пенный рот,
Бьется море о пирсы, зовет корабли,
А их поглотила пучина вод³⁷.

Каков же он, суинк, суинк-гигант?

— Екатерина, принеси оловянную кружку-пинту. Теперь наполни ее до самого края пшеницей. Перед нами фунт — по системе мер веса, принятой с незапамятных времен. Здесь семь тысяч зерен. Возьми пятнадцать штук, растолки их в ступке. Смочи кашицу, скатай шарик. Крошечный шарик получился, не так ли? Его можно проглотить без труда. Теперь представим, что он — полый с маленькой дырочкой, проделанной острием тончайшей иголки. Вообразим, что это дом суинка, кликнем его и его сородичей. Продолжаем фантазировать: смотрите, он идет! Процессия движется. Разве можно разглядеть такое крошечное существо? Нет, его можно только вообразить. Считайте же: раз, два, три... Три индивида? Нет. Как их считать? Армиями, только армиями, в каждой из которых по миллиону суинков. Считайте: раз, два, три...

Я считал и считал, размеренно и монотонно. Счет дошел до сорока.

— Продолжайте!

Счет дошел до семидесяти.

— Продолжайте!

Счет дошел до девяноста.

— Продолжайте! Я досчитал до ста.

— Стоп! Перед вами стомиллионная армия суинков, размером с пилюлю каломели. Снимите шляпу в знак почтения! Стоя приветствуйте его величество Суинка, лорда-

³⁷ «Печалью туманится моря лик...» — стихи Томаса Рида (1822-1872), американского художника-портретиста и поэта.

протектора Венца Творения, Спасителя планеты, Хранителя всего живого!

Так будет ли ему даровано прощение? Обращенный в дух, воспарит ли он с нами в Край Вечного Покоя, где сможет наконец сложить усталые руки и отдохнуть от трудов, исполнив свой долг, завершив свою миссию? Как вы думаете?

XVII

Наконец-то моя душа обрела мир и покой, полный, идеальный покой; я надеялся и верил, что отныне ничто его не нарушит, ничто не взволнует сомнением. Низшие животные — большие и малые — превратятся в духов, неосязаемых, как мысль; легкие и расплывчатые, они разбредутся в необъятных просторах Вселенной, незаметные, безобидные, безопасные. Ну почему раньше никому в голову не приходило это простое и рациональное решение? На Земле даже самые привередливые церковники с радостью приветствовали бы переселение раскаявшегося на смертном одре бродяги Блитцовского в Благословенную землю, вовсе не печалась о том, что им придется общаться с ним целую вечность. С кем? С нечесаным, пьяным, вонючим идиотом? Нет, с духом — легким, порхающим, неосязаемым, как мысль, необременительным, безобидным духом. Но тех же милосердных священников, предвидевших обращение бродяги в дух, чистый и безобидный, не осенила простая логичная идея — предсказать обращение в дух всех остальных индивидов. А до этого нетрудно было додуматься после предсказания будущего Блитцовского, принесшего такое умиротворение.

Что-то вывело меня из задумчивости; оказывается, герцог продолжал свои рассуждения примерно в таком духе:

— Итак, мы видим, что суинк и только суинк с самого начала спас нашу планету от эрозии и непоправимого бесплодия, спас нас и все остальные живые существа от

вымирания. Он и сейчас спасает нас от вымирания, и, если он когда-нибудь покинет нас, наступит конец света, этот день будет означать переход нашего Великого Вида и нашей благородной планеты в категорию Безвозвратно Ушедшего.

Значит, скромный невидимка — важная персона? Давайте признаемся: да, по сути дела — суинк единственная важная персона. Что собой представляет мужское платье, именуемое нами Генрихом Великим, перед которым мы в благоговейном трепете склоняем головы? Что собой представляет вся эта шатия королей и их знать? Что такое их армия, их флот? Что собой представляет неисчислимое множество народов с их национальной гордостью? Все это тени, только тени, в мире нет ничего реального, кроме суинка. А что такое показное могущество этих народов? Это всего лишь греза, в мире нет иного могущества, кроме могущества суинка. А слава? Суинк дал, суинк взял. А богатство, а процветание?

Впрочем, обратим внимание на другое. Существуют какие-то странные черты сходства, роднящие наш Великий Вид с этими крошечными существами. К примеру, у нас есть высшее общество, и у них — тоже. Здесь можно провести параллель, хоть это и не совсем точно отражает суть дела, ибо наши аристократы — полезны и лишь в редких случаях смертоносны, в то время как их аристократы — болезнетворные микробы, заражающие нас страшными болезнями. (Вы только послушайте! Он сам — болезнетворный микроб и даже не подозревает об этом. Девическая невинность этих бандитов не поддается описанию — *М. Т.*)

Вот следующая параллель — безупречна. Я имею в виду их низшее сословие — трудящуюся бедноту. Они совершенно безвредны. Они выполняют свою работу, выполняют ее толково и непрестанно. Мы уже усвоили, что они спасают нас и нашу планету, но этого мало — они создают наше богатство, а нам остается только протянуть за ним руку и воспользоваться даром на благо себе.

Хотите пример? Ни один метод отделения льняных волокон от древесных в кудели не обходится без помощи

суинка. В этом важном деле патент принадлежит ему. Суинк всегда заправлял богатейшей льняной промышленностью на планете, он и сейчас главный заправила в этом деле — пускает в ход фабрики, выплачивает жалованье, следит за барышом. Суинк распоряжается и выработкой холста — подготавливает джут. Он ворочает делами и в производстве других волокон.

Суинки разных видов помогают развивать индустрию. Суинки-дрожжи — верные помощники хозяйке на каждой кухне, в каждой пекарне. Без них хлеба не выпечешь. Суинки заведуют изготовлением вин, крепких напитков, пива — в самом широком масштабе. Это по его милости народы поглощают целые реки горячительного зелья, и барыши потоком текут в карман капиталистов. Это суинки пекутся о том, чтоб вы ели хорошее масло, сметану, сыр.

Стоит табаку пустить листок, и суинк, верный своему долгу, уж тут как тут. Он не бросит листок на произвол судьбы и не пощадит сил, чтобы провести его через все стадии сушки; когда вы закуриваете сигару, ощущая ее восхитительный вкус и аромат, а душа ваша преисполняется довольством и благодарностью, вспомните, что это — его работа. Суинк держит под надзором всю табачную промышленность великой планеты, и она приносит доход, какой и не снился статистикам. Дым всеожжения, ежедневно восходящий к небесам во славу неизвестного бога — бога, чьи труды никому не ведомы и чье имя никогда не произносят невежественные фанатики, превосходит по объему дым всеожжении на всех других жертвенниках, восходивший к небу за предшествующие тридцать лет. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, ибо все мы склонны под воздействием эмоций впадать в ошибки.

Вот те дела, которые мы приписываем нашему благодетелю, скромному суинку, могущественному суинку, всеобщему кормильцу, всеобщему защитнику. Кончается ли на этом мой рассказ? А не оказывает ли нам суинк еще какую-нибудь услугу? Оказывает, и огромную.

В свое время погибают деревья и травы. Ими завладевает суинк. Он разлагает их, превращает в прах, смешивает

с землей. Предположим, он прекратил свою работу. Опавшие листья, погибшие растения не гниют, а накапливаются, накапливаются, накапливаются; земля, погребенная под многофутовой толщей, ничего не родит, все живое погибает, планета превращается в пустыню. Щедрость и плодородие земли на огромной планете зависит только от суинка.

— Господи боже мой! — бормотал я про себя. — Вот это идея — закрыть врата рая перед самыми достойными созданиями и допустить туда блитцовских!

— Так вот, позвольте мне закончить. Мы выражаем недовольство суинками-аристократами, болезнетворными микробами. При одном упоминании о суинке нам приходит на ум лишь вред, причиняемый его аристократами. А когда мы говорим о трудяге-суинке, нашем благодетеле, творце наших благ? По сути дела — никогда. О том, что суинк — наш благодетель, не известно никому, кроме отдельных ученых и эрудитов. Что же касается широкой публики, она полагает, что суинки болезнетворны, и испытывает ужас перед всем племенем суинков. И это достойно сожаления, ибо факты и цифры, представленные ей для изучения, умерили бы эту враждебность.

Когда суинк — микроб чумы отправляется в набег, его самая блистательная победа — два с половиной процента смертности в каждой общине, причем его жертвой становится не нация, а всего лишь несколько общин. Я, разумеется, говорю о нынешних временах. В прошлом веке он добивался больших успехов, пока им не занялись ученые. Уничтожив свои два с половиной процента, микроб чумы должен затаиться на долгие годы. Холерный микроб еще более деликатен, однако и ему приходится отложить последующий набег на несколько лет. Тем не менее репутация у обоих — самая скверная, они вызывают ужас. З

не знаю. За жизнь целого поколения микробы холеры и чумы дают о себе знать лишь в самых глухих уголках планеты. Тем временем трудяга-суинк помогает всем народам, содействует их процветанию, не получая взамен ни похвалы, ни благодарности.

Герцог перешел на местный диалект.

— Что творят все болезнетворные микробы, вместе взятые? По их вине появляется всего десять могил из сотни, только и всего. У болезнетворных микробов половина жизни уходит на то, чтобы свалить с ног среднего суфласка, а в то же время их собрат, суинк-трудяга, кормит того же суфласка, защищает его, обогащает, не получая взамен ни награды, ни благодарности. Если перевести это на язык метафор, суинк преподносит суфласку тысячу баррелей яблок, и тот молчит, но стоит ему обнаружить среди них одно гнилое, как он... Ну-ка, Екатерина, скажи, что он делает?

— Посылает.

— Замолчи! — вовремя спохватился я.

— Но так графиня выражается, я сама слышала. Говорит...

— Неважно, что она говорит, мы не хотим это слушать.

XVIII

Я был восхищен лекцией герцога. Феномены, упомянутые в ней, были для меня новы и удивительны. И в то же самое время давно знакомы и неудивительны. На Земле, когда я изучал микробиологию под руководством профессора Г. У. Конна³⁸, эти факты считались общеизвестными применительно к микробам, заражающим человеческий организм, но мне было в диковинку то, что существует их дубликат — микробы, заражающие человеческих микробов. Все знают, что род человеческий был изначально спасен от гибели микробом, микроб спасает его с тех пор и поныне, микроб — защитник, охранитель жизни, надежда и опора многих мощных отраслей промышленности на Земле, в нем более всего заинтересованы корпорации, эксплуатирую-

³⁸ Из книги американского профессора Г. У. Конна «Жизнь микробов» (1897) Марк Твен почерпнул много полезных сведений.

щие его труд; его услуги эксперта неоценимы для этих корпораций. Общеизвестно, что именно микроб спасает Землю, иначе, погребенная под толщей мусора, она исчезла бы из виду и стала непригодной к использованию, — одним словом, все знают, что микроб — самый полезный гражданин планеты Земля, что человек не может обойтись без него, как не может жить без солнца и воздуха. Известно и то, что род человеческий не замечал его благодеяний и помнил лишь о том, что болезнетворные микробы повышают смертность на десять процентов. Вместо того, чтобы покончить с этой несправедливостью, человек объявил всех микробов болезнетворными и злобно поносил всех микробов, включая своих благодетелей!

Да, все это было не ново для меня, но оказалось, что наши старые добрые знакомые микробы сами имеют множество микробов, которые кормят, обогащают, преданно берегут от смерти и их самих, и их планету, бродягу Блитцовского, — вот это было ново и восхитительно!

Я жаждал увидеть суинков своими глазами. Я весь горел от возбуждения! У меня были линзы, дававшие увеличение в два миллиона раз, но поле зрения микроскопа не превышало человеческий ноготь и не давало хорошего обзора. Я страстно желал получить поле обзора в тридцать футов, что соответствовало бы нескольким милям природного ландшафта и показывало бы то, что стоит посмотреть. Мы с приятелями не раз пытались усовершенствовать свой микроскоп, но безуспешно

Я сказал о своем желании герцогу, и мои слова вызвали у него улыбку. Оказывается, все решалось очень просто: подобное оборудование было у него дома. Я вознамерился купить у герцога секрет усовершенствования, но он ответил, что такой пустяк не стоит разговоров,

— Вам не приходило в голову направить рентгеновский луч под углом $8,4^\circ$ на параболический отражатель? — спросил герцог.

Клянусь честью, я бы никогда не додумался до столь простого решения! Я был ошеломлен.

Мы тут же наладили микроскоп, я поместил на предметное стекло капельку своей крови и тотчас размазал ее. Результат превзошел все ожидания. Передо мной простиралась на несколько миль зеленая холмистая равнина, пересеченная реками и дорогами. Где-то вдаль виднелись расплывчатые очертания живописных гор. В долине расположился белый палаточный городок, возле него застыли в ожидании артиллерийские батареи, дивизионы кавалерии и пехоты. Нам повезло: очевидно, они построились для церемониального марша или чего-то в этом роде. На переднем плане, где развевалось королевское знамя, стоял самый большой и красивый шатер с эффектными гвардейцами-часовыми, возле него размещались другие красивые шатры. Воины, особенно офицеры, производили очень приятное впечатление — подтянутые, элегантные, в нарядных мундирах. Вся армия была как на ладони: день выдался ясный, и при таком сильном увеличении каждый боец казался ростом с ноготок. (Мое собственное выражение, и довольно удачное — *М. Т.*) Я сказал:

— Ваше высочество, посмотрите — росток с ноготок, а что ни боец — удалец.

— Что вы имеете в виду, милорд?

— Вон, гляньте на статного генерала — того, что стоит, опершись рукой о дуло пушки. Опустите мизинец рядом с ним, и его плюмаж будет как раз на уровне верхней части вашего ногтя.

— Росток с ноготок — это хорошо и точно подмечено, — сказал герцог и потом сам несколько раз употребил это выражение.

Через минуту к генералу подъехал верховой и отсалютовал.

— Так, так, если считать лошадь, у этого росток — ноготок и три четверти, — заметил герцог.

Куда ни посмотришь, всюду с веселым видом разгуливали щеголи-офицеры, но солдаты были невеселы. В лагере собралось много женщин — жен, невест и дочерей суинков, и почти все они плакали. Провожали, конечно, на войну, а не на летние учения, и бедных трудяг-суинков от-

рывали от праведного труда для того, чтоб послать на край света — нести цивилизацию и другие бедствия несчастным Народам, Ходящим во Тьме, иначе почему женщины плакали?

Конница была на диво хороша; породистые вороные лошади с лоснящимися крупами били копытами, и только луч света засиял на трубе, подающей сигнал, который мы не могли слышать, как весь дивизион пустил коней в галоп. Это великолепное, волнующее зрелище продолжалось до тех пор, пока пыль, поднявшаяся на дюйм, — а по мнению герцога, еще выше — не окутала конницу крутящимся зыбким облаком, сквозь которое сверкали обнаженные сабли.

Вскоре произошло главное событие дня — в лагерь прибыла целая армия священников с хоругвями. Последние сомнения отпали: начиналась война, и длинные шеренги солдат отправлялись на фронт. Их маленький монарх выступил вперед — более очаровательную миниатюрную пародию на человека трудно было представить. Он воздел руки к небу, благословляя марширующие войска. Солдаты были на седьмом небе от счастья, и, проходя мимо хоругвей, почтительно выражали верноподданнические чувства.

Построившись сомкнутыми рядами, они шествовали маршем под реющими знаменами — удивительно красивое зрелище!

Войска отправлялись куда-то сражаться за Родину, которую олицетворял манекен, благословлявший их на подвиг, — отправлялись защищать его и его знатных братьев из роскошных шатров и между делом захватить и цивилизовать для них какую-нибудь богатую страну, маленькую и беззащитную. По всему было видно, что крошечный монарх и его придворные не намеревались становиться в строй. Герцог сказал, что это, несомненно, Генрих и Семейство суинков; те тоже никогда не воевали, а, сидя дома, в полной безопасности, поджидали трофеи.

Ну а что оставалось делать нам? Разве мы не должны были исполнить свой моральный долг? Разве мы могли допустить, чтоб началась война? Наш долг — остановить ее во

имя справедливости! Наш долг — дать отпор эгоистичному и бессердечному Семейству!

Герцог был потрясен и тронут этой идеей. Он вполне разделял мои чувства и настроился бороться за справедливость, а потому предложил капнуть на Семейство кипятком и уничтожить его, что мы и сделали.

Кипяток заодно уничтожил и армию, а это не входило в наши планы. Мы горько сожалели о содеянном, но потом герцог заявил, что погибшие суинки для нас — ничто и заслуживали уничтожения хотя бы потому, что рабски служили жестокосердному Семейству. Герцог верноподданнически делал то же самое, как, впрочем, и я, но нам и в голову не приходило такое сравнение. И это отнюдь не то же самое: ведь мы — суфласки, а они всего-навсего суинки.

XIX

Герцог вскоре ушел, но последняя неотступная мысль не давала мне покоя: это отнюдь не то же самое, ведь мы суфласки, а они всего-навсего суинки. Так вот где собака зарыта! Неважно, кто мы и что собой представляем, нам всегда есть кого презирать, с кем порой считаться, с кем никогда не считаться, к кому проявлять полное безразличие. В бытность свою человеком я самодовольно полагал, что принадлежу к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, к Всеобъемлющим Существам, к Божьей Отраде. Я презирал микробов, они не стоили моего мимолежного взгляда, самой пустячной мысли; жизнь микроба для меня ничего не значила, я мог отнять ее ради собственной прихоти, она была все равно что цифра на грифельной доске — захотел и стер. Теперь же, став микробом, я с негодованием вспомнил об оскорбительном высокомерии, о беззастенчивом равнодушии человека и копировал его тупое пренебрежение к другим существам даже в мелочах. И снова я взирал сверху вниз — теперь уже на суинков, и снова я считал, что жизнь суинка ничего не стоит и ее можно

стереть, как ненужную цифру с грифельной доски. И снова я относил себя к Лучшим из Лучших, к Избранным, к Великой Сумятице, и снова я нашел, кого презирать, кем пренебрегать. Я принадлежал к суфласкам, я был Всеобъемлющим Существом, а где-то бесконечно далеко внизу копошился ничтожный суинк, я мог отнять его жизнь ради собственной прихоти. Почему бы и нет? Что в этом дурного? Кто меня осудит? И тут до меня дошла неумолимая логика ситуации. Неумолимая логика ситуации заключалась в следующем: существует человек и микроб-паразит, которым человек пренебрегает; существует суфласк и суинк-паразит, которым суфласк пренебрегает; значит, и суинк наверняка имеет какого-нибудь паразита, которого презирает, которым пренебрегает, которого при случае уничтожает с легким сердцем; из этого следует, что у такого паразита наверняка есть свой паразит, и так далее, и так далее, пока не доберешься до самого последнего, ничтожно малого создания, если таковое существует, что весьма сомнительно.

Я снова обрел покой и чистую совесть. Мы сварили живьем бедняжек суинков, ну и что? Пусть терпят, пусть вымещают зло на своих паразитах, а те — на своих, и так до тех пор, пока в отместку не обварят кипятком самое последнее, ничтожно малое создание, и тогда все будут удовлетворены и даже рады этому происшествию.

В конце концов, такова жизнь. Она такова повсюду, при любых условиях: король презирает придворного, придворный презирает чиновника, чиновник рангом повыше презирает того, кто ниже рангом, а тот — другого, кто еще ниже, а другой — третьего, кто еще ниже, и так все пятьдесят каст, составляющих общину, все пятьдесят аристократий, составляющих общину, ибо — могу с уверенностью сказать — каждая каста внутри общины считает себя аристократией и свысока взирает на тех, чье положение ниже, норовит выхватить у них «жирный кусок». И так — сверху вниз, пока не доберешься до самого дна. А на дне вор презирает хозяина, сдающего жилье внаем, а тот — льстивого проныру агента по продаже домов, стоящего так низко, что дальше уже некуда.

Я просмотрел свою работу о местном денежном обращении и решил, что факты в ней изложены точно, понятно и занимательно. Это мой очень давний труд. В первые дни пребывания на Блитцовском я взял за правило записывать все новое, что узнал, откладывать написанное впрок, а потом время от времени возвращаться к сделанному и оценивать заново. Я всегда находил какие-нибудь огрехи и постепенно выправлял ошибки. Работа о денежном обращении прошла ту же суровую проверку временем. Я счел ее вполне удовлетворительной и отдал на хранение Екатерине — до следующего случая.

Это было три тысячи лет тому назад. О, Екатерина, бедное дитя, где ты? В каких краях обретаешься, прелестное создание, причудливый эльф? Где ты, юная краса, переменчивый нрав, порывистое отзывчивое сердце? Где ты, неуловимая, как шарик ртути, непредсказуемая, как проливной дождь в яркий солнечный день? Ты была для меня аллегорией, ты была самой жизнью! Веселой, беззаботной, сверкающей, боготворимой мною, всепобеждающей жизнью! И вот уже тридцать столетий ты прах и пепел.

Пожелтевшая старая бумага вызвала в памяти образ Екатерины. Ее рука последней трогала эти листы. Екатерина была славное дитя, именно дитя. Знай я, где ее пальцы коснулись бумаги, я поцеловал бы это место.

В незапамятные времена два юных искателя приключений облюбовали в чужих краях уединенное местечко и основали там деревеньку, нынешний Рим. Деревенька со временем разрослась и несколько веков была столицей королевства; слава о ней шла по всему миру, она стала сердцем республики, родиной выдающихся деятелей, даже императоров, среди которых попадались и вполне сносные владыки. Рим стоял на земле уже семь или восемь веков, когда в одной из его провинций родился Иисус Христос; наступил век Веры, а за ним — Темные, или Средние, века, растянувшиеся на несколько столетий. Рим взирает на мир

с высоты своего величия, и когда над ним пронеслось восемнадцать столетий, Вильгельм Завоеватель совершил деловую поездку на Британские острова. Потом появились крестоносцы и два века поднимали пыль столбом, но романтическое шоу куда-то сгинуло, шум стих, стяги исчезли, будто все это привиделось людям во сне. Потом мир посетили — один за другим — Данте, Боккаччо и Петрарка; разразилась Столетняя война, явилась миру Жанна д'Арк, немного погодя изобрели печатный станок — событие огромной важности; потом вспыхнула война Алой и Белой розы — сорок лет крови и слез. Вскоре Колумб открыл Новый Свет. В том же самом году Рим узаконил истребление ведьм: за свои две тысячи двести лет он порядком устал от ведьм. В течение последующих двух столетий в Европе не продали ни одного фонаря, и даже искусство их изготовления было утрачено: в христианском мире дорогу путешественникам освещали костры, на которых живьем сжигали женщин, привязанных к столбам на расстоянии тридцати двух ярдов друг от друга. Христианский мир постепенно очищался от ведьм и довел бы это дело до конца, если б кто-то случайно не дознался, что ведьм не существует, и не рассказал об этом всем вокруг. Скучно протекли еще два столетия; Рим, некогда маленькая деревушка в глуши, насчитывал уже две тысячи шестьсот лет и назывался Вечным городом. Бывшие дворцы времен Христа обратились в груды камней, поросшие травой, и даже унылый Новый Свет, открытый Колумбом, стал не такой уж новый: народу там прибавилось, и, наверное, вернись Колумб к этим берегам, он бы поразился, увидев города, железные дороги и великое множество людей.

Перебирая в памяти события минувших лет, я думал: какой седой стариной представляется то время, когда два юных путешественника основали деревушку и назвали ее Римом. И все же, возразил я себе, еще больше веков кануло в вечность с тех пор, как Екатерина унесла старую рукопись; о, если б я знал, где ее рука коснулась бумаги!

Денежное обращение

В одном важном деле цивилизация Блитцовского несомненно превзошла земную. Некогда Bund³⁹ добился введения на Блитцовском единой валютной системы. Здешние жители, отправляясь в путешествие, не запасаются ни валютой на мелкие расходы, ни купюрами в чужой непонятной валюте. Номинальная цена денег во всех странах одинакова.

Когда эту идею предложили впервые, она вызвала опасения, ибо предлагала упрощение самой изощренной головоломки. Каждая страна обзавелась собственной валютой, собственной грошовой принципиальностью, и это была плачевная картина, неизбежно возникающая там, где царствует хаос. Яркий пример тому — случай с моим прадедушкой, который некогда отправился в путешествие в Германию.

В те времена Германией заправляли триста шестьдесят четыре принца-самодержца, что ни ферма — свой принц. Каждый принц имел собственный монетный двор, каждый ежегодно чеканил денег на сумму, равную нынешним пятистам-шестисстам долларам, с изображением собственной персоны на каждой монете. В обращении находилось три тысячи двести тридцать разновидностей монет, и каждая имела свой номинал и название.

Никто в Германии не знал всех названий, никто не знал, как пишется хотя бы половина из них; за пределами каждого государства его монета падала в цене, и чем дальше, тем сильнее.

Моим предком был некто Эссфолт. Он получил генеральский чин еще в молодости, когда целых три недели служил при губернаторе. Эссфолт приехал в Германию лечиться, врачи прописали ему ежедневные прогулки — пять миль туда и обратно. Наведя справки, мой предок выяснил, что

³⁹ Bund — лига, конфедерация стран (нем.).

самый дешевый маршрут по направлению север — северо-восток, потому что в этом случае путь его пролегал всего лишь через пять границ суверенных государств. Положи Эссфолт по неосторожности руль на румб вправо, ему предстояло пересечь семь границ; положить руль на румб влево было и того опасней: тогда на его пути было девять границ. На румб вправо и на румб влево протянулись две самые хорошие дороги, но Эссфолт не мог позволить себе такой роскоши и брел по грязной немощенной дороге во вред собственному здоровью, которое его послали укреплять. Любой другой на его месте сразу смекнул бы, что нет смысла экономить на дороге, но вбить в голову Эссфолту такую простую мысль было невозможно.

В то лето мой предок жил в главной деревне Великого Герцогства Доннерклапперфельд. С утра сразу после завтрака он отправлялся на прогулку, набив карманы своего костюма, который менял через день, местной монетой на сумму двадцать долларов. Костюм тоже обходился ему в двадцать долларов, хотя красная цена ему была восемь с половиной. Цена возмутительная, ибо Эссфолту приходилось платить за шитье самому герцогу, запретившему своей высочайшей властью всем портным открывать мастерские в его владениях.

У границы герцогства — в трехстах ярдах от постоянного двора, Эссфолт платил экспортный налог за костюм — пять процентов его стоимости. Эссфолта пропускали через заставу, а потом иностранный таможенник по другую сторону заставы останавливал моего предка и взимал с него пятипроцентный импортный налог за тот же костюм и еще пять процентов за разницу в курсе при переводе одной валюты в другую.

У каждой заставы игра продолжалась в том же духе: Эссфолт платил налог за экспорт, импорт и разницу в курсе при переводе одной валюты в другую — по два доллара у каждой из пяти застав. На обратном пути все повторялось сначала, и каждая прогулка обходилась ему в двадцать долларов. Эссфолт возвращался без медяка в кармане, хоть ничего не покупал по дороге. Разве что привилегии и покро-

вительственный тариф. Но он вполне мог обойтись без привилегий и никогда не пользовался никаким покровительством — правительственным во всяком случае.

Что ни день, с него взимали десять долларов за разницу в курсе. С этим генерал смирился, но считал, что десять долларов налога на экспорт и импорт ежедневно бросает на ветер. Через день налог съедал его костюм, и ему приходилось покупать новый.

Эсфолт пробыл в Германии девяносто дней. За это время он купил сорок пять костюмов. В отличие от генерала я сторонник протекционизма и считаю эту меру правильной, но, если отправляешься в путь с настоящим полноценным долларом и он тает у тебя на глазах до последнего пятнышка жира на нем из-за надувательства с переводом валюты, пора крикнуть: «Стоп!» — и учредить международную валюту, чтобы доллар стоил сто центов повсюду — от Северного полюса до Южного, и от Гринвича до 180 меридиана. Так заведено на Блитцовском, и, по-моему, лучшей системы не придумаешь.

Единица денежного обращения на Блитцовском — бэш. Его стоимость — одна десятая цента по американской системе. В обращении находятся еще шесть номиналов. Привожу их названия с приблизительной меновой стоимостью в американской системе.

Бэшэр — 10 бэш. Меновая стоимость — 1 цент.

Гэш — 50 бэш. Меновая стоимость — 5 центов.

Гэшер — 100 бэш. Меновая стоимость — 10 центов.

Мэш — 250 бэш. Меновая стоимость — 25 центов.

Мэшер — 500 бэш. Меновая стоимость — 0,5 доллара.

Хэш — 1000 бэш. Меновая стоимость — 1 доллар.

Теперь о банкнотах. Самая первая соответствует одному доллару, и далее они идут в следующем порядке: 1 хэш, 2 хэш, 5 хэш, 10 хэш, 20 хэш, 50 хэш.

Потом названия меняются, и мы имеем:

клэшер = 100 000 хэш. Меновая стоимость — 100 долларов;

флэшер = 1 000 000 хэш. Меновая стоимость — 1000 долларов;

слэшер = 1 000 000 000 хэш. Меновая стоимость — 100 000 долларов.

Покупательная способность бэш в Генриленде примерно такая же, как покупательная способность доллара в Америке.

Сначала возникли большие трудности с выбором названий денежных единиц. И эти трудности создали поэты. В комиссию по выбору названий вошли только бизнесмены. Они потратили уйму времени и труда на это дело, и, когда опубликовали перечень предложенных ими названий, остались довольны все, кроме поэтов. Они атаковали перечень единым фронтом и высмеяли его самым безжалостным образом. По их мнению, такие названия могли навеки выхолостить живое чувство, переживание, поэтический настрой из денежной сферы, ибо ни в одном языке — ни в живом, ни в мертвом — невозможно найти к ним рифму. И поэты подкрепили свои слова доказательствами. Они наводнили планету задорными двусишиями; их первая строчка кончалась одним из названий монет, вторая бодро и весело выходила на финишную прямую, но финишной ленточки не было, и зафиксировать победу было невозможно.

Комиссия убедилась в правоте поэтов. Она решила передать им контракт и поступила мудро. После долгих споров и пререканий выбрали названия «бэш», «мэш» и им подобные. Комиссия одобрила эти названия, референдум официально ввел их в употребление отныне и во веки веков. Эти слова великолепно рифмуются, в этом смысле они не имеют себе равных. Стоит только вспомнить земную финансовую терминологию!

соверен	пиастр	флорин
гульден	цент	грош
сантим	обол	рубль

доллар сикель песо
дублон шиллинг пфенниг

Если объявить конкурс на эпическую поэму о деньгах, — экспромт, дистанция миля, одна попытка, — то поэт-суффласк сможет в одиночку состязаться с поэтами всего христианского мира; он в одиночестве пройдет дистанцию, с ходу рифмуя «гэш», «мэш», «хэш» и прочие «эши». Конкурс выигран, поэма создана! А где же соперники, позвольте вас спросить? Застраили где-то в начале пути, без единого шанса на успех, пытаясь подобрать рифму к упрямым «пфеннигам».

Екатерина прервала мои размышления, напомнив, что завтрак уже на плите, а сразу после завтрака у меня соберется группа на занятия по высшей теологической арифметике. Времени было в обрез. Екатерина занялась наладкой мыслефона, а потом я начал записывать на нем новейшую историю Японии, завершавшую, к моей радости, огромный труд — историю Земли. История Японии началась с импрессионистического облачка; я не мог взять в толк, откуда оно появилось, и дал машине обратный ход, чтоб проверить качество записи. Все остальное было ясно, но облачко приводило меня в замешательство. Екатерина сразу догадалась, что облачко — отрывок из «Науки и богатства» — нечленораздельный, разложенный на фонемы, спрессованный в одну расплывчатую мысль. Крепкий орешек для будущих студентов-историков! Пусть точат на нем зубы.

Мне не терпелось поскорей отправиться к месту раскопок. Друзья-ученые теперь в полном сборе, и я узнаю, как они приняли мою «поэму». Я решил: занятия по высшей теологической арифметике проведет мой ассистент, сам же я немедленно отправлюсь на раскопки. Однако пришлось остаться, ассистент меня подвел. Оказывается, он сам был на раскопках и, как зачарованный, слушал удивительный рассказ Луи и Лема. Мой ассистент родился с душой поэта, он был восторженный энтузиаст, и его воображение напоминало микроскоп, о котором я рассказывал. Добросер-

дечный и искренний по природе, он всегда стремился к благородным, высоким идеалам. Он был не чета своему брату, Лему Гулливеру. Даже в имени, которым я его одарил, заключалась похвала, но мой ассистент звался сэром Галаадом по праву⁴⁰. Он не знал, что символизирует его имя, как и Лем Гулливер, но я-то знал и полагал, что хорошо справился с ролью крестного отца.

Сэр Галаад с первого знакомства был моим любимейшим и способнейшим учеником. Он по праву занимал высокое место моего помощника в маленьком колледже — я осмеливаюсь назвать этим громким именем свою скромную школу. Как и я, он очень любил этику и преподавал ее с великой охотой. На всякий случай, я посещал некоторые лекции сэра Галаада, не потому, что не доверял ему, — нет! Просто время от времени у него сильно разыгрывалось воображение, и приходилось возвращать его с неба на землю. Сэр Галаад никогда не грешил против истины, но порой, одержимый какой-нибудь фантастической идеей, пришедшей ему на ум, уверенный в ее правоте, он решительно провозглашал ее истиной. Если б не этот изъян, его лекции по сложнейшим дисциплинам были бы превосходны. Аудитория затаив дыхание внимала его экскурсам по прикладной теологии, теологической арифметике, метафизике и прочим высоким материям. Я же слушал его с еще большим удовольствием, ощущая под рукой тормоз.

Попав наконец на место раскопок, я увидел, что работа стоит на мертвой точке. В центре внимания всех участников раскопок был плод моей «фантазии», о котором им поведали Людовик и Лем, причем Лем называл его ложью, а Людовик — поэмой. Он-то и произвел такую сенсацию. Приятели уже несколько часов кряду обсуждали фантастический вымысел; одни разделяли мнение Лема, другие — Людовика, мне же не верил никто. Тем не менее все жаждали узнать подробности, и это меня вполне устраивало. Я

⁴⁰ Галаад — один из рыцарей «Круглого стола», воплощение рыцарских добродетелей.

начал с того, что Главный Обитатель Земли — Человек и что он на своей планете считается существом высшего порядка, как суфлask на Блитцовском.

— Каждый индивид именуется Человеком, — добавил я, — а все люди вместе составляют Человечество. Род человеческий огромен, — добавил я, — он насчитывает полтора миллиарда человек.

— Ты хочешь сказать, что их всего-навсего полтора миллиарда — на всей планете? — возопил разом весь клан, не скрывая издевки.

Я предвидел этот вопрос и невозмутимо ответил:

— Да, всего-навсего полтора миллиарда.

Как и следовало ожидать, последовал взрыв хохота, и Лем Гулливер заметил:

— Вот так штука! На семейство не наберется! У меня одного родственников больше. Тащите вино, фантазия Гека истощается!

Людовик был явно разочарован и огорчен: поэма не на высоте, ей недостает величия, грандиозности. Я сочувствовал ему, но сохранял спокойствие.

— Послушай, Гек, — преодолевая смущение, произнес Людовик, — здесь отсутствует логика, это несерьезно. Такое искусство поверхностно и неосновательно. Сам понимаешь, упомянутое тобой мизерное население не соответствует огромным размерам планеты. У нас оно затерялось бы в самой захудалой деревушке.

— Отнюдь нет, Луи. Это ты несерьезен, а не я. Не спеши с выводами. Ты еще не располагаешь всеми сведениями, не знаешь одной важной детали.

— Какой детали?

— Роста этих людей.

— А, роста... Разве они не такие, как мы?

— Как тебе сказать... Похожи, но лишь телосложением и лицом, а что касается роста, тут не может быть сравнения. Человеческий род не запрядешь в нашу деревушку.

— А сколько человек туда можно запрятать?

— По правде говоря, ни одного.

— Вот это здорово! Ты метишь в классики, Гек, только смотри, не залетай слишком высоко. Я...

— Оставь его в покое, Луи, — вмешался Лем. — Старая мельница снова заработала! Не расхолаживай парня, дай ему волю. Валяй, Гек, мели больше! Спасай свое доброе имя. Семь бед — один ответ. Ну скажи еще, что даже один громила не укроется в нашей деревне.

— Не смешите меня, — сказал я. — Даже его зонтик не уместится на расстоянии от вашего Северного полюса до экватора. Он скроет из виду две трети вашей малюсенькой планеты.

Мои слова вызвали всеобщее возбуждение.

— Рубашки, рубашки! — закричала вся компания, вскочив на ноги.

Рубашки кружились в воздухе и падали на меня, словно хлопья снега. Людовик был вне себя от восторга, он стиснул меня в объятиях и шептал, задыхаясь от волнения:

— О, это триумф, это триумф, поэма завоевала признание, она великолепна, бесподобна, величественна, ты достиг зенита славы! Я знал, что ты на это способен!

Друзья продолжали беситься, испуская радостные вопли, и при всеобщем шумном одобрении провозгласили меня Имперским Верховным Вождем Лжецов Генриленда с правом передачи титула по мужской линии отныне и вовеки веков. Послышались выкрики:

— Грандиозно! Грандиозно! Да здравствует его величество Человек! Расскажи о нем подробнее!

— Охотно, — сказал я, — все, что хотите. Представьте себе, что ваш Блитцовский одет; так вот — даю слово, — я не раз видел людей, на которых его одежда лопнула бы, попытайся они натянуть ее на себя; вздумай такой человек лечь на вашу планету, он целиком скрыл бы ее под собой

Приятели пришли в неописуемый восторг и заявили, что готовы неделю напролет слушать такие превосходные сказки, что я на десять голов выше любого враля за всю историю суфласков. Как я мог так долго таить от них свой великолепный, блестящий дар! И, конечно, они стали просить:

— Расскажи что-нибудь еще!

Я не возражал. Часа два кряду я занимал их рассказами об Исполине и его планете, перечислял народы и страны, системы правления, главные религии и тому подобное, а сам то и дело косился на Лурбрулгруда в ожидании подвоха. Он был скептик по складу ума. Все знали, что Груд постоянно ведет записи, такая уж у него была привычка. Он вечно норовил заманить кого-нибудь в ловушку и уличить во лжи. Судя по лицам моих слушателей, на сей раз им это не понравилось. Груд их раздражал. Они, разумеется, считали, что я сочинил все эти хитроумные небылицы, чтобы поразвлечь их, а потому несправедливо требовать, чтоб я все помнил, и ловить меня на слове. Как и следовало ожидать, через некоторое время Груд достал свои записи, пробежал их глазами и приготовился выступать. Но Дэйв Копперфилд, подстрекаемый приятелями, зажал ему рот рукой и приказал:

— Спокойно! Помалкивай! Гек вовсе не обязан что-нибудь доказывать. Он с блеском продемонстрировал, каких высот может достичь воображение, если это воображение гения, он придумал поэму, чтобы доставить нам удовольствие, и мы получили удовольствие, верно я говорю, ребята?

— Попал в точку!

— Так вот, повторяю — помалкивай и не расставляй свои ловушки. Он вовсе не обязан держать перед тобой ответ.

— Сказал, как отрезал, — одобрили присутствующие. — Поди прогуляйся, Груд!

— Нет, пусть спрашивает, — вмешался я. — Я не возражаю и готов ответить на его вопросы.

Такой оборот дела их вполне устраивал. Им хотелось послушать, как я буду выкручиваться.

— Погодите! — сказал Лем Гулливер. — Какая же игра без пари? Задавай первый вопрос, Груд, а потом подожди немного.

— Послушай, Гек, — начал Груд, — в самом начале ты блефанул с этой, как ты ее назвал, кубинской войной⁴¹. Привел смехотворную статистику этой стычки. Повтори ее, пожалуйста.

— Стоп! — сказал Лем. — Ставлю два против одного на ту и другую статистику. Два бэш против одного, что он ничего не вспомнит. Ну, кто согласен держать пари?

Все молчали с понурым видом. Лем, конечно, ехидничал, такой уж у него характер. Людовик рассердился и выкрикнул:

— Держу пари!

— Черт подери, я — тоже! — горячо поддержал его сэр Галаад.

— Идет! Кто еще?

Ответа не последовало.

Лем, потирая руки, злорадно ухмыльнулся:

— Держу пари, ставка та же, что Гек не ответит правильно ни на один вопрос из всего списка. Ну, что скажете?

Выждав с минуту, я ответил:

— Держу пари.

Ребята выразили мне шумное одобрение в пику Лему, который изрядно разозлился, но все же не хотел спустить дело на тормозах — о, нет! Это было бы на руку другим. Когда все утихомирились, он сказал:

— Стало быть, ты держишь пари, ты сам! Одобряю твое решение. Отвечай на вопросы.

Приятель уткнулся в записи Груда и напряженно ждал.

— Мы послали на Кубу семьдесят тысяч солдат.

— Один ноль в пользу Гека! — закричали мои болельщики.

⁴¹ Кубинская война — имеется в виду испано-американская война. В битве при Сан-Хуане американская кавалерия одержала победу (см. также примечание 5).

— Мы потеряли убитыми и ранеными двести шестьдесят восемь человек.

— Два ноль в пользу Гека!

— Одиннадцать человек умерло от болезней.

— Три ноль в пользу Гека!

— Три тысячи восемьсот сорок девять — от лекарств, прописанных врачами.

— Четыре ноль в пользу Гека!

— В армию призвали сто тридцать тысяч человек, помимо тех семидесяти тысяч, что были посланы на Кубу. Их разместили в лагере во Флориде.

— Пять ноль в пользу Гека!

— Мы взяли на полное государственное обеспечение все двести тысяч человек.

— Шесть ноль в пользу Гека!

— Мы произвели в генерал-майоры врача за отвагу, проявленную в великой битве при Сан-Хуане...

— Семь ноль в пользу Гека!

— ...за то, что он отправил пилюли в тыл и защищал жизнь солдат с оружием в руках.

— Восемь ноль в пользу Гека!

— Гек, ты приводил медицинскую статистику компании, которую назвал русско-японской войной. Повтори, пожалуйста, эти цифры.

— Из одной партии раненых солдат в девять тысяч семьсот восемьдесят человек, доставленных с поля боя в военные госпитали, умерли только тридцать четыре солдата.

— Девять ноль в пользу Гека!

— Из партии в тысячу сто шесть японских солдат, отправленных в тыловые госпитали, потому что полевые не брали тяжелораненых, не умер ни один. Все поправились, и большинство смогло вернуться на фронт. Из этой партии три солдата были ранены в живот, три — в голову и шесть — в грудь.

— Десять ноль в пользу Гека!

— Гек, упомянув американскую медицинскую службу, ты...

— Погоди, я об этом не упоминал. Никакой медицинской службы в Америке нет и никогда не было. Я говорил, что народ порой называет ее медицинской службой, порой — ангелами смерти, но и то, и другое названия употребляются в шутку. У нас есть хирургическая служба — отличная, надо сказать, а вся остальная служба делится на два звена и общего названия не имеет. Каждое из них существует независимо друг от друга, осуществляет свои функции и имеет свое собственное название — официальное название, присвоенное ему военным министерством. Военное министерство именует одно из них «Тифозная служба», а другое — «Дизентерийная служба». Одна поставляет тиф в тыловые военные лагеря, а другая — дизентерию в действующую армию.

Я говорил вам и о том, что наше правительство сумело извлечь уроки из кубинской войны. Сразу же после конфликта оно реорганизовало свою военную систему. Правительство уволило в запас солдат и призвало на военную службу только врачей. Посылая их в бой, правительство не обременяет их мушкетами и пушками — в их седельных выюках находится тридцатидневный резерв врачебных боеприпасов. Никакого войскового обоза. Экономия на военных затратах — грандиозная. Там, где раньше воевали целые армии, теперь достаточно одного полка. В кубинской войне сто сорок две тысячи испанских солдат за пять месяцев уничтожили двести шестьдесят восемь наших защитников. За те же пять месяцев сто сорок наших врачей уничтожили три тысячи восемьсот сорок девять упомянутых защитников и, не израсходуй они весь свой боевой запас пилюль, уничтожили бы всех остальных.

При новой системе шестьдесят девять врачей заменяют войско в семьдесят тысяч солдат. В результате у нас самая маленькая и самая надежная армия в мире. Я подробно остановился на этих событиях, хоть они и не числятся в списке, потому что они дают общее представление о том, что вас интересует. Извините, что прервал игру своим отступлением. Вернемся к вопросам.

К этому времени в настроении присутствующих произошла резкая перемена, отовсюду слышались возбужденные выкрики:

— Подожди, подожди, мы тоже держим пари!

Приятели так распалились, что совали деньги Лему, решив держать пари на все оставшиеся сто восемьдесят два вопроса, как он и предлагал с самого начала. Лем уклонился. Он уже проиграл двадцать бэш Луи и двадцать Га-лааду. Дело для него было гиблое. Уклонившись от пари, он заявил, даже не пытаясь подсластить пилюлю:

— У вас была возможность, а вы ею не воспользовались, значит, в игре не участвуете.

Отказ накалил страсти еще больше. Приятели предлагали Лему двойную ставку. Он снова отказался. Ставки росли — три к одному, четыре к одному, пять к одному, шесть к одному, семь, восемь к одному. Лем отказывался. Тогда они махнули рукой на эту затею и утихомирились.

— Предлагаю пятьдесят к одному, Лем! — сказал я.

Боже, какой тут поднялся шум! Лем колебался. Искус был велик. Все затаили дыхание. Он молча размышлял целую минуту, потом заявил:

— Не-ет, не хочу.

Снова поднялся шум.

— Лем, два к одному, что я не упущу ни одной детали в ответах на все сто восемьдесят два вопроса, — продолжал я искушать Лема. — Соглашайся, если хоть одна деталь будет упущена, вся сумма ставок — твоя. Скажешь, не велика потеря? Ты ж бывалый игрок! Ну, соглашайся!

Мои слова задели его за живое. Я это знал наперед. Лем принял вызов. Он держался, стиснув зубы, пока я не довел счет до тридцати трех без единой ошибки. Болельщики следили за мной затаив дыхание и лишь изредка раздражались аплодисментами. Лем пришел в бешенство. Он клялся с пеной у рта, что здесь какая-то казуистика, размахивал кулаками, кричал.

— Все это — надувательство, сфабрикованная ложь. Другим заплачу, а тебе — нет! Ты вызубрил свои сказки наизусть и заманил меня в ловушку, а я по глупости попался.

Ты знал, что я предложу пари и расставил сети. Но пожить тебе не удастся, так и знай. У нас в стране заведено: если ты заключаешь пари, наперед уверенный в выигрыше, пари недействительно!

Я одержал большую победу и был очень доволен собой.

— Как тебе не стыдно, — возмутились ребята, — нечего увиливать!

Они были готовы силой заставить Лема отдать мне выигрыш, но я не упустил случая проявить доброту и преподать им урок нравственности. Пример нравственности был для меня с точки зрения выгоды дороже денег: он вызовет интерес в семьях, где чтут моральные устои, поэтому я упросил ребят оставить Лема в покое.

— Я не могу взять деньги, друзья, поверьте, не могу, — сказал я. — Мое положение не позволяет участвовать в азартных играх, напротив, оно обязывает меня выступать против них самым решительным образом, особенно публично. Я расцениваю этот случай как публичное выступление в некотором роде. Нет, я не могу принять деньги: для меня, общественного деятеля, это — грязные деньги. Я не мог бы потратить их с чистой совестью, разве что на благотворительные нужды. И даже в этом случае — с определенными ограничениями. В своей лекции о Земле я говорил о долгой и ожесточенной словесной битве, которая велась в Америке по поводу грязных денег и способах их законного использования. В конце концов американцы пришли к выводу, что не следует вводить никаких ограничений. По этой причине я покинул свою страну и приехал сюда. В прощальном слове я публично заявил: «Я уезжаю и не вернусь никогда. Я отрекаюсь от своей родины. Я не могу дышать зараженным воздухом и уезжаю туда, где нравственная атмосфера чиста». Я уехал, и вот я здесь. С первых же дней на Блитцовском я ощутил перемену к лучшему, дорогие мои товарищи и друзья!

Они приняли мои слова как комплимент, на что я и рассчитывал. Приятели дружно прокричали десятикратное «Ура!», сопроводив его восторженными возгласами. Потом я продолжил свою речь:

— Я разошелся во мнении с бывшими соотечественниками, и люди, более гибкие в вопросах морали, чем я, сочли бы предмет спора софизмом. Моя точка зрения такова: все грязные деньги очищаются от грязи, уйдя от загрязнившего их владельца, за исключением тех случаев, когда они используются за рубежом во вред чужой, более высокой цивилизации. Я заявил: не посылайте эти деньги в Китай⁴², пошлите их миссионерам в другие края, тогда они очистятся от скверны. Я уже упоминал сегодня о стране, которая называется Китай, вы, вероятно, помните.

Я не могу взять эти бесчестные деньги сейчас, потому что нахожусь бесконечно далеко от Китая, у меня не было намерения их брать; я держал пари, чтоб позабавить себя и вас. Я не выиграл эти деньги; участвуя в игре, я знал, что играю не ради денег и не имею на них права.

— Вот это да! А как докажешь? — закричали приятели.

— Лем уже сказал: я держал пари, наперед уверенный в успехе. То был вовсе не плод фантазии, а факты, обыкновенные исторические факты, которые мне известны с давних пор. Я не мог ошибиться, даже если б захотел.

Это был тонкий и хорошо рассчитанный маневр с целью поколебать и ослабить упрямую уверенность приятелей в том, что моя планета и все, что я о ней рассказывал, — хитроумная выдумка, ложь. Я с надеждой заглянул в их лица и пал духом: нет, судя по всему, я не одержал победы.

Лем уже чувствовал себя значительно лучше и увереннее, но он явно сомневался, что я играл без всякой подтасовки.

— Гек, — сказал он, — дай честное слово, что это не мистификация. Может, ты зазубрил все подробности?

⁴² Деньги посылались в Китай американским миссионерам «для распространения евангельского учения». В 1899 г. в Китае вспыхнуло ихэтуаньское («боксерское») восстание, жестоко подавленное в 1901 г. войсками европейских держав, царской Россией, Японией и США. М. Твен горячо выступал в защиту восставших, против интервенции.

— Даю слово, Лем, что я этого не делал.

— Ладно, я тебе верю. Больше того — восхищаюсь тобой. У тебя великолепная память и, что еще важнее, умение собраться с мыслями, способность сосредоточиться и мгновенно отыскать в своей умственной кладовой то, что требуется. Профессиональные вральи часто лишены такого дара, и это их губит; подмоченная репутация подобного вральи становится все более жалкой и незавидной, и в конце концов о нем забывают.

Лем замолчал и принялся натягивать рубашку. Я думал, что он продолжит свою мысль, но, очевидно, он сказал все, что хотел. Прошло несколько мгновений, прежде чем я сообразил, что его небрежно брошенное замечание насчет профессиональных вральей имеет ко мне прямое отношение. Теперь до меня дошло, какая тут связь. Он сделал мне комплимент — по крайней мере, в его представлении это был комплимент. Я обернулся к ребятам, как бы приглашая их вместе посмеяться над шуткой Лема, но — увы! Ничего смешного в его словах они не заметили. Вся компания восхищалась мной по той же причине. Было от чего прийти в отчаяние. Смех замер у меня на губах, и я тяжело вздохнул.

Через некоторое время сэр Галаад отвел меня в сторону и спросил, пытаюсь подавить волнение:

— Скажите по секрету, учитель, клянусь, я сохраню вашу тайну, все эти чудеса, непостижимая фантастика — вымысел или факт?

— А что тебе с того, мой бедный мальчик? — грустно отозвался я. — Ты все равно мне не поверишь. Никто не верит.

— Нет, я поверю! Что бы вы мне ни сказали, я поверю. Это святая правда!

Я прижал Галаада к груди и произнес сквозь слезы:

— Не нахожу слов, чтоб сказать, как я тебе благодарен! Я пал духом и отчаялся: ведь я надеялся на совсем другой исход дела. Клянусь тебе, мой Галаад, я говорил правду, и только правду.

— Довольно! — пылко воскликнул он. — Этого достаточно. Я верю каждому вашему слову. Я жажду услышать больше. Я жажду знать все об изумительной Земле, об энергичном Человеческом Роде, об этих великанах, головой уходящих в небо, которые в два шага пересекут нашу планету из конца в конец. У них своя история — я знаю, я чувствую, какая это древняя, захватывающе интересная история! Клянусь Грэком (Главный бог на Блитцовском. — *М. Т.*), я хотел бы узнать ее!

— Ты ее узнаешь, мой мальчик, мое сокровище! Ступай без промедления к Екатерине Арагонской, попроси ее включить мыслефон и прокрути запись с самого начала. Там вся история земной цивилизации. Ступай, и да благословит тебя Грэк!

Галаада точно ветром сдуло. Он всегда таков в минуты волнения.

Когда я вернулся к ребятам, Лема Гулливера уже осенила новая идея. Я сел и выслушал его. Идея заключалась в организации компании по сбыту моей «Лжи». Лем так и выразился. По его словам, никто на Блитцовском не смог бы конкурировать с такой компанией. Она поглотила бы все концерны на своих собственных условиях и монополизировала бы всю торговлю этим товаром. А что касается акционерного капитала, за ним дело не станет. Никаких сомнений, никаких забот — мы сами должны вложить средства в маленький синдикат и разводнить акционерный капитал⁴³.

— Разводняй свою бабушку, — огрызнулся Груд. — Все это — толчение воды в ступе. Миллион тонн перетолчешь, толку — чуть.

— Пустяки! — возразил Лем. — Поживем — увидим. Главное — правильно начать, а там уж дело пойдет как по маслу. Прежде всего надо придумать название для компании — внушительное, впечатляющее название — ну, предлагайте!

⁴³ Разводнение — выпуск акций на сумму, превышающую величину капитала, действительно вложенного в предприятие.

- «Стандард ойл», — сказал я.
- Что это такое?
- Колоссальная корпорация на Земле, самая богатая.
- Идет! Решено — нарекаем компанию «Стандард ойл».

А теперь...

— Гек! — прервал Лема Груд. — Таковую ложь за один прием не сбудешь. Ни один народ не сможет проглотить ее целиком.

— А кто говорил про один прием? В этом нет никакой нужды. Мы продадим ложь в рассрочку, и они купят ее частями — ровно столько, сколько смогут принять на веру за один раз. А в промежутках будут приходить в себя.

— Меня это устраивает — выглядит солидно. А кто займется основанием предприятия?

— Баттерс.

— Баттерс? Этот дизентерийный микроб, спекулянт и биржевой игрок?

— Да, он подходит: знает, как вести игру.

— Игру-то он знает, — заметил Дэйв Копшерфилд. — А ты доверишь ему положить наши денежки в свой сейф?

— Нет, будем держать их в печке и наймем двух пожарных, чтоб сменяли друг друга на вахте через четыре часа.

— Ладно — уговорил! А Баттерс не сочтет себя униженным?

— Баттерсы не так устроены.

Черт бы их подрал, они и впрямь задумали дело! В жизни не наблюдал подобного легкомыслия! За пять минут их можно втянуть в любую аферу. Идея Лема вконец разорит меня! Родители перестанут посылать своих сыновей в мой институт, если морали их станет обучать лжец из компании «Ложь инкорпорейтед». (Примерно в середине второго десятилетия я стал преподавать этику. Дополнительный заработок обеспечил мне кое-какие удобства, и я был очень рад. Я сам написал объявление на квадратном куске жести и вешал его себе на спину, когда играл на шарманке Оно почему-то не привлекало внимание окружающих, и тогда я прикрепил его к входной двери:

ПРЕПОДАВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ ТОРГОВОЙ ЭТИКИ ЦЕРКОВНОЙ ЭТИКИ И ПРОСТО ЭТИКИ

У меня тотчас появились ученики, и занятия пошли полным ходом. Многие говорили, что в этике я, пожалуй, сильнее, чем в музыке. Это походило на лесть, но они, кажется, были вполне искренни. Я же склонен принимать все похвалы за чистую монету). Если «Стандард ойл» потерпит крах, прощай, спокойная легкая жизнь, мне останется лишь шарманка да мартышка — тяжелый, непрерывный унижительный труд!

Я был в панике, и не без основания. Надо немедленно положить конец губительной затее. Но как? Убеждением? И думать нечего! Убеждением золотые мечты из горячих голов не изгнать. Но есть другой способ — один-единственный: проникнуться этой идеей и превозносить ее до небес.

Мой ум работал лихорадочно быстро, на полную катушку. Слышно было, как в голове одна за другой прокручиваются мысли. Я отклонял идею за идеей: все не то... А время летело.

Наконец, в самый критический момент меня осенило, и я понял, что спасен! Смятение, тревогу, ужас как рукой сняло.

— Ребята... — спокойно начал я.

XXI

Тут я сделал паузу. Это лучший способ привлечь к себе внимание шумной и возбужденной компании молодежи. Начните говорить и сделайте паузу. Они ее тотчас заметят, хоть и пропустили ваши слова мимо ушей. Болтовня стихает, все взоры устремляются к вам — внимательные, вопрошающие. Вы представляете им возможность созерцать

вас секунд восемь, а то и девять, напустив на себя вид человека, витающего в облаках. Потом, будто очнувшись, вы слегка вздрагиваете, еще больше возбуждая их аппетит; у них уже слюнки текут от нетерпения. И вот тогда вы говорите безразличным тоном:

— Ну, что, пошли по домам? Который час?

Теперь все козыри у вас на руках. Они разочарованы. Они чувствуют, что вы чуть было не сказали нечто важное, а теперь пытаетесь утаить это от них — из осторожности, не иначе. Они, естественно, алчут узнать, о чем вы умолчали. «Да так, ерунда, ничего особенного», — небрежно говорите вы. Но они уже вознамерились вызнать тайну во что бы то ни стало. Они настаивают, они упорствуют, они говорят, что шагу не сделают, пока вы им не выложите все. Вот теперь порядок. Вы целиком завладели их вниманием, вы возбуждаете их любопытство, симпатию. Теперь они проглотят что угодно. Можно начинать, что я и сделал:

— Все это мелочь, но если хотите слушать, — пожалуйста. Только чур не винить меня, если вам будет неинтересно. Я уже предупреждал, что это мелочь. По крайней мере, сейчас...

— Что ты подразумеваешь под этим — сейчас? — поинтересовался Дэйв Копперфилд.

— А то, что я предложил бы нечто интересное, если бы... В общем, речь идет об идее, которая пришла мне в голову сегодня, по пути сюда. Я было загорелся, подумал: может, нам удастся наскрести небольшой капиталец, и, признаюсь, идея показалась мне очень заманчивой. Но теперь это не важно, никакой спешки нет, никто кроме меня его не отыщет, десять лет будет искать — не найдет, так что можно не беспокоиться — никуда оно не денется. А года эдак через два-три, когда «Стандард ойл» будет крепко стоять на ногах, мы... Ну до чего же хорошее название! Оно даст компании ход, вот увидите! Не имей мы ничего больше, одно название гарантировало бы успех. Я совершенно уверен, что года через три, от силы — четыре «Стандард ойл»...

— К черту «Стандард ойл», не отвлекайся, — вспыхнул Лем Гулливер, — что у тебя за идея?

— Вот именно, — дружно поддержали его остальные, — выкладывай свою идею, Гек!

— Я вовсе не против того, чтоб рассказать, тем более что никуда оно не денется, годы пролежит, и никто, кроме меня, не узнает, где оно находится. А что касается сохранения тайны, то золото хорошо тем...

— Золото! — хрипло вскричали они, задохнувшись от изумления, с алчным огнем в глазах. — Где оно? Скажи, где оно, хватит тянуть кота за хвост!

— Друзья, успокойтесь, прошу вас, не горячитесь. Мы должны проявить благоразумие. Нельзя братья за все сразу. Уверяю вас: дело терпит. Давайте обождем — это самое разумное, а потом, через шесть-семь лет, когда «Стандард ойл»...

— Гром и молния! Пусть «Стандард ойл» обождет, — возмутилась вся компания. — Говори начистоту, Гек, где золото?

— Ну, ладно, — сдался я, — если все вы единодушны в своем желании повременить со «Стандард ойл», пока мы...

— Да, да, согласны, полностью согласны позабыть об этой затее, пока не сорвем куш, и ты сам дай слово. А сейчас рассказывай, да без утайки!

Я понял, что мой Институт прикладной этики спасен.

— Хорошо, я изложу вам суть дела, думаю, оно вас заинтересует.

Я взял с них обязательство хранить тайну, обставив эту церемонию с подобающей торжественностью, и рассказал им историю до того занимательную, что у них глаза и зубы разгорелись. Приятели слушали меня с напряженным вниманием, не дыша. Я рассказал им, что Главный Моляр — лишь часть извивающейся цепи бурых скалистых гор-исполинов, протянувшейся бог знает как далеко, может быть, на тысячи миль. Сама горная порода представляет собой конгломерат гранита, песчаника, полевого шпата, урановой смолки, ляпис-лазури, габитуса, футурум антиквариата, философского камня, мыльного камня, точильного кам-

ня, базальта, каменной соли, английской соли и всевозможной другой руды, содержащей золото, — россыпное или в материнской породе⁴⁴. Местность — пересеченная, труднопроходимая, необитаемая; на исследование одной сотни миль у меня ушло несколько месяцев, но я остался доволен тем, что увидел. Я отметил там одно очень перспективное место, где собрался заложить шахту; дело стало за деньгами. И вот теперь полагаю, что час пробил! По душе ли вам такая затея?

— Спрашиваешь! Еще бы!

Итак, с шахтой было решено. Энтузиазм становился все горячее и горячее, пока не дошел до точки кипения. «Стандард ойл» лопнула, как мыльный пузырью Мы разошлись по домам в приподнятом настроении.

По правде говоря, я не знал, стоит моя затея чего-нибудь или нет. Но, тем не менее, я питал самые радужные надежды. Я сопоставил кое-какие факты и сделал заключение. Блитцовский, несомненно, знавал лучшие дни, потому что имел обыкновение обращаться к дантисту. Из бедняков и людей, потерпевших финансовый крах, лишь те, кто имел в прошлом большие деньги и высокое положение, могли позволить себе такую расточительность.

Я был доволен тем, как провел эту игру. Люди, загоревшиеся грандиозной идеей, цинично и холодно встретят всякое новое предложение, если их умоляют обратить на него внимание. Но если предложение делается с безразличным видом и как бы нехотя, их любопытство распаляется, и они сами умоляют открыть им это новое.

⁴⁴ «...горная порода представляет собой...» — Перечисление «пород» — мистификация М. Твена.

Екатерина сказала мне, что включила мыслефон для сэра Галаада, и он был вне себя от восхищения и изумления от моей Истории Земли. Потом он умчался вместе с мыслефоном, решив, что запрется дома и будет изучать запись, пока хватит сил.

Я спас свой Институт прикладной этики, вклинив шахту по добыче золота между ним и «Стандард ойл». Шахта понадобилась мне в критической ситуации, я выдумал ее, чтобы заполнить брешь, но теперь, когда моя выдумка привела приятелей в сумасшедший восторг, надо было защищать золотоносную шахту либо выдумывать взамен нечто более красочное и богатое. Я перебирал множество вариантов — шахта по добыче изумрудов, опалов, алмазов, но отверг их один за другим: планета Блитцовского навряд ли богата этими драгоценными камнями. Пришлось вернуться к идее золотоносной шахты. Я убеждал себя, что моя надежда не так уж бесплодна, и чем больше я ободрялся ею, чем больше убеждал себя в ее разумности, тем менее иллюзорной она мне казалась. Только так и надо обращаться с надеждой, ибо она схожа с растением — стоит любовно разрыхлить и полить землю, и она даст три всхода там, где раньше не было ни одного. Конечно, если и сажать нечего, дело идет медленней и трудней, но если есть семечко — неважно какое, любое подойдет, — дело продвигается быстрее. Я нашел семечко. Во сне. Я посадил его. Сон привиделся мне вовремя. Я верю в кое-что увиденное во сне. Иногда. А в этот сон не поверил, потому что не знал тогда, на что он может сгодиться. Сон, приснившийся однажды, — пустяк, лишенный всякого смысла, но повторяющийся сон — совсем другое дело, он чаще всего приходит неспроста. Мне снился именно такой сон. Удивляюсь, как я раньше до этого не додумался. Сон был прекрасный и очень складный. Сначала мне снилось, что я терпеливо прогрызаю себе путь в длинном и тонком нерве нижнего коренного зуба Блитцовского. Я чувствовал, как исполнин

раскачивался от боли. Это продолжалось несколько недель, пока наконец я не обнаружил огромную впадину, впечатляющую, грандиозную впадину, окруженную отвесными скалами-стенами; освещенные матовым светом вечных сумерек, они уходили вершинами далеко-далеко в густой мрак: в это время рот Блитцовского был закрыт. Вскоре я снова увидел тот же сон, но на этот раз впадина была заполнена — Блитцовский побывал у дантиста, порожденно-моей фантазией. Через некоторое время я снова увидел этот сон. Мне снилось, что порода, заполнявшая впадину, прозрачна. В ней ясно различались три пласта, каждый примерно в треть мили толщиной (по микробской шкале мер). Верхний слой был сизого цвета, средний — цвета окисленного серебра, а нижний — желтый. Я вызвал в памяти все три сна и принялся их анализировать. Сначала меня одолевали сомнения, но терпеливый и упорный труд не пропал даром. Когда наконец пришло время собирать урожай, он оказался хорошим. Я был на грани экстаза. Шахта существовала — пусть иллюзорная, весьма иллюзорная, но все-таки она существовала! Я видел ее так отчетливо, будто она была перед глазами: верхний слой в треть мили толщиной — цемент, средний слой — амальгама, нижний слой — золотой, хорошее, чистое, высокопробное золото, двадцать три карата!

А запасы... Шутки ради я попробовал прикинуть запасы. Вскоре громада цифр целиком завладела моим воображением. Как это было естественно — вот она, наша природа! Я занялся подсчетом запасов шутки ради, но минут через пятнадцать с головой ушел в работу. Это тоже вполне естественно. Я был так поглощен подсчетом, что незаметно для меня сквозь призму моего воображения иллюзорное золото превращалось в чистый металл, а мечта становилась реальностью. По крайней мере, я обретал уверенность, а уверенность легко переходит в твердое убеждение. Так я пришел к твердому убеждению, что мой сон — честное и совершенно достоверное отображение реальности. Я отбросил все сомнения, которые закрадывались в душу, я свято верил, что сказочное сокровище, погребенное в

основании зуба Блитцовского, ждет нас! От уверенности до твердого убеждения всего один шаг, и я сделал его очень легко. А сделав, я был готов сказать любому: «Это не предположение, я знаю, что там есть золото». Все люди устроены на один лад. А будь мы совершеннее, мы ни у кого бы не вызывали интереса. При самом придирчивом, точном подсчете выходило, что золота в шахте с половину земной дробинки, не меньше. Колоссальное, немыслимое количество, от которого перехватывало дух! Тем не менее оно существовало, воплощенное в многозначном числе, — так просто не отмахнешься! С чем сравнить столь удивительное месторождение? С Клондайком?⁴⁵ Такое сравнение вызывало улыбку. Клондайк рядом с ним был все равно что денежный ящик уличного торговца. Может быть, с гигантским рудным столбом? Давайте подумаем. Гигантский рудный столб был обнаружен в Неваде за семь лет до моего появления на свет — огромное тело богатейшей серебряной руды, равного которому нет в мире. Его открыли два рабочих-поденщика; они тайком сговорились с трактирщиком и маклером, купили за бесценок землю и через неделю-другую стали мультимиллионерами. Но и гигантский рудный столб казался сущей мелочью, безделкой по сравнению с бесценным сокровищем, запрятанным в глубине зуба Блитцовского. Крупица золота ценой в две тысячи слэш различима под земным микроскопом лишь при увеличении в тысячу семьсот пятьдесят шесть раз. Пусть кто-нибудь другой, если есть охота, подсчитает, сколько стоил зуб Блитцовского, — я уже устал. От всего этого неслыханного богатства у меня закружилась голова, я был словно пьяный — пьяный от счастья. Никогда раньше у меня не было мало-мальски приличной суммы, я не представлял, что делать с такими деньгами, я потерял голову — на несколько минут. Прежде я не был алчным до денег, но

⁴⁵ Клондайк — золотоносный район на северо-западе Канады, где в начале века возникла «золотая лихорадка». В 1861-1862 гг. и 1864-1865 гг. Марк Твен занимался разведкой серебра в Неваде.

теперь я алкал! Какая неожиданная перемена произошла со мной! Да, мы и впрямь странно устроены!

А что скажут приятели, когда я сообщу им эту новость? Что они почувствуют, когда опомнятся от потрясения и поймут, какое баснословное богатство им привалило? Вот именно, что они почувствуют, когда сообразят, что не могут истратить свой годовой доход, даже если наймут в помощники всю императорскую семью?

Мне не терпелось поскорее созвать приятелей и преподнести им потрясающее известие. Я потянулся к телефону.

— погоди! — услышал я внутренний голос. — Не делай опрометчивого шага, подумай!

Я подчинился таинственному импульсу и стал размышлять.

Я напряженно думал целый час. Потом вздохнул и сказал себе: «Да, так будет по совести, ведь это я обнаружил шахту, если б не я, ее никто никогда бы не отыскал. Если они получают по одной двенадцатой от общей суммы, а я — ни на бэш больше, это будет элементарная несправедливость!» Я думал, думал и решил, что мне причитается половина, а другую половину они поделят между собой. Это решение показалось мне справедливым, и я почувствовал удовлетворение. Я опять протянул руку к телефону и... Таинственный внутренний голос снова остановил меня

Я раздумывал еще час. Они, конечно, не сумеют распорядиться такими деньгами — это невозможно. Хватит с них и трети, с их-то скромными запросами и непривычностью к... Я потянулся к телефону.

После долгого глубокого раздумья я понял, что им не под силу разумно распорядиться и четвертью такой фантастической суммы. Пожалуй, даже ее десятой частью. Ведь, сорви они такой куш, как одна десятая, коварный, ядовитый дух спекуляции наверняка разлит их, разложит морально. По какому же праву я искушаю молодых и неопытных...

Нет, нет и еще раз нет! Я не могу пойти на такое предательство! Я не сомкну глаз, если стану виновником их мо-

рального падения! Сама мысль об этом больше, чем я в состоянии...

Итак, решено: для их же блага я возьму все золото себе. Тогда им ничто не будет угрожать, и мысль о том, что я сохранил в чистоте их души, отныне будет мне достойной наградой, и нет награды приятнее и выше.

Но я не хочу лишать их доли в привалившем мне богатстве. Они получают часть амальгамы. Они отработают оба пласта и получают часть амальгамы в награду за свой труд. Я еще подумаю, какую часть им выделить. К тому же они могут взять себе весь цемент. Я пошел спать⁴⁶.

⁴⁶ В одном из писем редактору Ф. А. Дюнеке М. Твен сообщает: «Я с головой ушел в работу над новой книгой. Она доставляет мне больше удовольствия, чем любая другая за последние двадцать лет». Однако сохранилось письмо Твена Твичелу, в котором Твен упоминает, что прекратил работу над рукописью. Это письмо и дневниковая запись автора от 30 августа 1906 г. не дают оснований считать повесть законченным произведением, хотя главная линия — моральная деградация героя — доведена до логического конца. Гек, герой и рассказчик, выступавший обличителем Скоробогатии, сам заражен духом наживы.

Развивая литературные традиции Д. Свифта, Марк Твен обличает имперские притязания своей родины, кастовость «демократического общества», буржуазную цивилизацию в целом. Он окончательно развенчивает «Христианскую науку», низвергает с престола ее «царицу» — шарлатанку М. Бекер Эдди, блистательно завершает свой извечный спор с богословами, доводя до абсурда идею рая, куда по логике вещей попадут и микробы, разносчики болезней. Твена всегда отличало обостренное внимание к окружающему миру. Особый интерес он, судя по художественным произведениям и дневниковым записям, проявлял к развитию естественных наук. Они преломились в творчестве Твена в фантастико-гротесковой форме антиутопии, представили мир в неожиданном ракурсе. Невольно вспоминается афоризм Б. Шоу: «Будущие открытия, которые потом станут научными фактами, приходят на ум таким, как я, в виде шутки».

Традиции позднего Твена четко прослеживаются в творчестве многих современных американских авторов и прежде всего — в антиутопиях Курта Воннегута.

ВЕЛИКАЯ ТЬМА

(Фрагменты)

Мы экспериментировали с микроскопом. Экспериментировали, надо сказать, довольно-таки невежественно. В коробке, среди маленьких стеклянных пластинок, мы нашли одну с этикеткой: «Срез мушиного глаза». В самом центре едва виднелась точка. Мы поместили пластинку под мало-мощную линзу и увидели что-то похожее на обломок пчелиных сот. Под линзой посильнее появился оконный переплет со множеством стекол. Мы поместили пластинку под самую сильную линзу и теперь видели только одну секцию из нескольких сотен. Мы по-детски радовались и удивлялись мощности увеличения линзы и повторяли: «Наконец-то мы узнаем, обитают ли в капле воды живые существа, как написано в книгах».

Из каретного сарая, где в застоявшейся луже купалась охалка прогнившего сена, мы принесли немного воды и набрали полную пипетку; капля, как слеза, упала на стеклянную пластинку. Стали подкручивать винты, пока объектив вплотную не придвинулся к капле; зажмурив один глаз, глянули в окуляр. Какое разочарование — ничего не видеть! Мы снова занялись винтами, заставив линзу *прикоснуться* к капле. И снова разочарование — ничего не различить. Мы опять подкрутили винты, с силой *прижав* объектив к стеклянной пластинке. Только *тогда* мы увидели животных! Они появились не сразу. Сперва видишь огромное, пустое ничто, потом у края этого грандиозного белого моря, так чудесно освещенного рефлектором, выныривает чудище, пересекает водную гладь и исчезает за горизонтом на противоположной стороне. Другие время от времени то возникали, то исчезали. Линза была *прижата* к стеклу — как же, спрашивается, неуклюжие создания протискивались между ними и не застревали? Они плавали совершенно свободно; было вполне понятно, что места и воды у них вдоволь. Какие же они, должно быть, непредставимо крошечные! Мало того — широкое круглое море, где они так вольно плескались, представляло собой только часть нашей капли затхлой воды; оно было не больше булавочной головки, а вся капля, размазанная по стеклу — размером с колечко на детском пальчике. Если бы нам

удалось поместить всю каплю под объектив, мы увидели бы, как эти жуткие рыбыны проплывают мило за милей, прежде чем исчезнуть за далеким горизонтом!

Я растянулся на диване. Я был глубоко впечатлен увиденным в капле; мысли настойчиво кружились в голове. Океан в капле воды — неизвестный, не нанесенный на карты, никем не изученный океан! Не исследованный человеком, который тратит все свои усилия на Африку и полюса, тогда как прямо у него под боком лежит неведомый, чудесный мир! В тот же миг ко мне явился Комендант Снов, и мы с ним обсудили данный вопрос. Он готов был предоставить корабль и команду, однако заметил:

— Путешествие будет непохоже ни на одно другое. И это, знаешь ли, не воскресная экскурсия.

— Годится. Я не против.

— Ты и твоя команда значительно уменьшитесь в размерах, но беспокоиться тебе незачем, ты ничего даже не почувствуешь. Ваш корабль можно будет подцепить острием иглы и разглядеть только в очень сильный микроскоп.

— Понимаю и совсем не возражаю. Раздобудь-ка мне команду китобоев. Лучше иметь на борту опытных моряков: вдруг морские твари решат доставить нам неприятности?

— Еще лучше с ними не связываться.

— Постараюсь их избегать. Они не сделали мне ничего дурного, и я по своей воле не обижу ни одно живое существо, но и бежать от них не стану. Вид у них на редкость уродливый, только меня, слава Богу, не испугает самый страшный уродец, плавающий в капле воды.

— Ты так думаешь *сейчас*, когда в тебе пять футов восемь дюймов. Все изменится, когда пылинки в солнечном луче покажутся в сравнении с тобой Монбланом.

— Не имеет значения. Ты же знаешь, я и раньше встречался лицом к лицу с опасностью...

— В таком случае заканчивай с заказами — ночь на исходе.

— Прекрасно. Пусть с нами отправится натуралист, знакомый с тамошними обитателями; а корабль должен быть комфортабельным, с достаточным запасом провизии — я беру с собой семью.

* * *

На протяжении месяца или двух команда каждые два-три дня замечала громадных морских животных; матросы были сперва в таком ужасе, что дважды открыто грозили захватить корабль, если капитан не повернет назад; но тот твердой рукой подавил назревавший бунт, указав морякам, что существа не выказывали никаких намерений напасть на судно и потому могли считаться безвредными. Команда успокоилась, и порядок был восстановлен. Капитан повел себя храбро, ведь в глубине души он сам до дрожи боялся чудовищ и не слишком доверял их невинному нраву. Он держал «гатлинги»^{*} наготове и в дополнение к вахтам ввел дежурство у орудий.

Я как раз закончил править рассказ Алисы о встрече мальчика с кальмаром, когда корабль, скользя по гладкому как паркет морю, вдруг накренился на правый борт и так и застыл! Пол встал наискосок, словно скат крыши. Все незакрепленные предметы в каюте соскользнули на пол и покатались к переборке. Мы были, конечно, страшно встревожены. Затем до нас донесся топот ног на палубе и взрыв криков и воплей, после снова топот бегущих ног. Крики звучали громче.

— Скорее, найди детей! — воскликнула Алиса.

Я выбежал и бросился в темноте к корме — и тогда передо мной предстало ужасное зрелище, какое я уже видел двенадцатью годами ранее, когда бедный мальчуган уго-

^{*} «Гатлинг» — многоствольное стрелковое орудие, запатентованное в 1862 г. американским изобретателем Р. Гатлингом, прообраз современного пулемета (*Прив. перев.*).

дил в жуткую переделку. Я обогнул рубку, открылась корма, и там — будто два лунных диска над самой кормой, освещающая палубу и испускающая тошнотворное желтое сияние — сверкали глаза гигантского кальмара. Можно было ясно различить колоссальный клюв и голову, нависшую над судном, подобно холму; кальмар протянул вперед одно из щупалец, обвил им грот-мачту и пытался перевернуть корабль; другим он держался за бизань-мачту, а еще несколько извивались в сумраке над нашими головами, стараясь хоть что-то ухватить. Все на палубе задыхались от его зловонного дыхания.

Как и большинство матросов, я оцепенел от ужаса; но капитан и его помощники сохраняли мужество и хладнокровие. «Гатлинги» на правом борту были бесполезны, однако четыре орудия на бакборте, изготовившись к бою, за минуту всадили в лунные диски более двух тысяч пуль. Ослепленное существо разжало хватку. Кальмар изверг из пасти буйную Ниагару воды, море вскипело пеной, и он отскочил на три сотни ярдов, отбросив корабль на такое же расстояние вперед; стремительный поток пронесся по палубе, смывая снаряжение, и сбил многих матросов с ног; некоторые были покалечены. Минут пять мы слышали, как кальмар бьется от боли в темноте и хлещет по волнам огромными щупальцами; луны его глаз то показывались, то исчезали, и все это время судно раскачивалось и ныряло в поднятых им волнах. Наконец он затих. Мы благодарно перевели дух, сочтя чудовище мертвым.

Только тогда я вспомнил о детях; я заметался по палубе, расспрашивал матросов — но детей никто не видел. Я подумал, что их могло смыть за борт, и мое сердце на мгновение застыло. В надежде, что они спрятались в каюте матери, я бросился туда и чуть не упал на пороге: каюта была пуста. С тревожными криками я выбежал и почти тотчас же наткнулся на жену. Она без чувств лежала у переборки, вся промокшая. Врач и молодой Филипп помогли мне внести ее в каюту; затем мы с врачом занялись ею, а Филипп побежал наверх, чтобы организовать поиск детей. Прошло не менее получаса, прежде чем Алиса начала подавать при-

знаки жизни; ее затуманенные глаза в изумлении раскрылись, она узнала меня — и взор ее заволокла пелена невыразимого страха.

— Дети! дети! — задыхаясь, произнесла она.

И я, с упавшим сердцем, ответил самым уверенным тоном:

— Все в порядке. Они в безопасности.

Я никогда не мог ее обмануть. Она видела меня насквозь.

— Неправда! У тебя все на лице написано — они исчезли, ах, они пропали, исчезли!

Мы, двое сильных мужчин, не сумели ее удержать. Она вырвалась и миг спустя уже мчалась по темной палубе, в отчаянии выкрикивая имена детей; сердце разрывалось от ее криков. Мы поспешили за ней, указывали на мелькающие фонари, объясняя, что вся команда занята поисками; мы молили ее, если не ради себя, то ради детей и меня вернуться в постель и не рисковать своей жизнью. Но все было напрасно, она нас не слушала. Мать, потерявшая детей — этим все сказано. Она готова была искать их, пока держалась на ногах. И она искала их, час за часом, с горестным воем, заставляя самые закаленные сердца плакать с нею, и наконец лишилась сил и упала в обморок. Мы со служанкой уложили ее в постель; не успела она очнуться, как попыталась встать и возобновить свои поиски. Судовой врач, поощряя ее намерение, дал ей выпить настойки для восстановления сил; настойка погрузила Алису в глубокий сон, как он и ожидал.

Мы оставили с ней служанку и присоединились к поисковому отряду. Фонари больше не светили, и все попадавшие нам навстречу в темноте люди старались двигаться бесшумно. Я схватил за шиворот одну из темных фигур и со злостью спросил:

— Что это все означает? Поиски прекращены?

— Шшш! — ответил тихий голос Тернера. — Приказ капитана. Зверь не издох — и охотится за нами.

Я содрогнулся от страха.

— Ты не шутишь, Тернер? Откуда ты знаешь?

— Слушайте.

Откуда-то донесся приглушенный всплеск, на секунду показались две луны, медленно повернулись и исчезли.

— Он залег ярдах в ста от нас и пытается нащупать корабль своими щупальцами. Мог бы достать, но у него не получается, потому как он ослеп. Раз чуть не схватил нас, одна его рука там, в темноте, едва не наткнулась на фок-мачту. Потом он ее втянул, ничего не подозревая. Я вздохнуть боялся, честное слово. Видите, он немного отстал, но упорно продолжает охоту.

Он помолчал, затем зашептал:

— Опять подбирается ближе, Богом клянусь. Поглядите — только поглядите! Видите? Там, в воздухе, извивается... с мачту толщиной. Плохо видно... *теперь* видите?

Мы замерли, затаив дыхание. Тут и там матросы молча собирались в кучки, смотрели в темноту и указывали вверх. Глубокая тишина легла на нас тяжким грузом. Малейшее шевеление воздуха, казалось, порождало призрачный звук. И вдруг раздалось, постепенно умирая в темноте, две мягкие ноты:

Бууууум — бууууум. (Две склянки ночной вахты).

Хриплый тихий голос — капитан:

— Заткните этот чертов колокол!

Тут же что-то с шумом заплескалось, послышался громоподобный звук с силой выпущенной из пасти воды, и чудовище ринулось на нас. Я перевел дыхание; силы оставили меня так внезапно, что мне пришлось схватиться за Тейлора. Мы увидели смутные очертания громадного существа; размахивая щупальцами, оно едва не задело корму, катя перед собой огромный вал и вздымая позади бурные волны; мгновение спустя оно оказалось вдалеке от нас, а поднятая им буря по-прежнему раскачивала и швыряла в разные стороны корабль.

— Слава Богу, *он* не в форме! — взволнованно проговорил Тернер.

Величественный слепой дьявол застыл, повернув к нам свои луны. Несчастье продолжало преследовать нас. А мы так надеялись, что он уплывет восвояси...

Я снова отправился на поиски. Внизу я встретил Филиппа, Люси Дэвис и нескольких других. Они тоже искали детей. Поиски были тщетны: они сказали мне, что уже везде побывали и теперь снова и снова прочесывают одни и те же закоулки, не решаясь сообщить матери, что детей не нашли. Лучше сказать ей, что она может положиться на своих друзей.

Через четыре часа, до предела измотанный, я сдался. Я поднялся наверх и сел у постели Алисы; я должен был оставаться рядом, поддержать ее, когда она услышит горестное известие. Вскоре она пошевелилась, открыла глаза, радостно улыбнулась и сказала:

— Какое блаженство! Мне снилось, что дети... — Она обвиняла меня, словно желая разделить тягостное сновидение. — Помнится, они... о Господи, это не сон!

Она изливала свое горе в плаче и стенаниях, отчаянно обвиняла саму себя, а я крепко обнимал ее и не мог найти ни единого слова утешения.

— Ах, Генри, Генри, ты молчишь, значит... о, мы не можем дальше жить, мы этого не вынесем!

На палубе послышался топот ног, дверь распахнулась и голос Тернера прокричал:

— Нашлись, Богом клянусь, нашлись!

Подобная радость поражает, как молния, и какое-то время нам казалось, что Алиса покинула нас; но затем она очнулась, вбежали дети и прижались к ее груди, и ее охватило счастье, какое не описать словами. Чуть позже она сказала, что никогда еще упоминание имени Господа всеу не казалось ей таким приятным и благозвучным, и попросила помощника капитана повторить фразу; он так и сделал, но божественную часть опустил и тем все испортил.

Джордж, Делия и дети видели, как кальмар зажег над кормой чудовищные луны, видели его гигантские щупальцы и не стали ждать продолжения: они убежали вниз и не останавливались до тех пор, пока не очутились глубоко в трюме и не спрятались в проходе между ящиками. Когда их нашли, они выглядели хорошо отдохнувшими, так как успели проспать несколько часов.

Тот день — кальмар, сбившая ее с ног волна, утрата детей — дорого обошелся Алисе. Тогда-то у нее появились первые седые волосы. Не так уж много — но они были далеко не последними.



Комментарии

Оба произведения Марка Твена (1835-1910) о приключениях в микромире были написаны в десятилетие, которое чаще всего называют «темным» и «мрачным» периодом в жизни и творчестве американского классика.

Простое перечисление биографических фактов показывает, насколько верны эти определения. К началу 1890-х гг. Твен потерял колоссальные суммы благодаря многолетним и неосмотрительным вложениям в новое изобретение — наборную машину Пейджа; не процветало и основанное им издательство. В 1894 г. Твен (живший в те годы в Европе) был вынужден объявить себя банкротом; в 1895 г., стремясь расплатиться с долгами, больной писатель отправился в длительное лекционное турне — он побывал на Гавайях, в Австралии, Новой Зеландии, на Цейлоне, в Индии, Южной Африке и т.д., завершив турне в Англии. В середине 1890-х гг. у младшей дочери Твена, Джин, проявилась эпилепсия, приведшая в итоге к ее ранней смерти. В 1896 г. от спинального менингита скончалась старшая и любимая дочь писателя Сюзи, литературная помощница отца. К 1900 г. финансовое положение Твена улучшилось и он смог вернуться в США, но в 1904 г. писателя постиг новый удар: умерла его жена Оливия, верная спутница Твена на протяжении более 30 лет.

Наброски романа «Великая тьма» относятся к осени 1898 г. Литературовед Р. Кент Расмуссен включает роман в целую серию неоконченных произведений о преуспевающих и счастливых отцах семейств, чья жизнь внезапно рушится; герои оказываются в реалистично описанных мирах кошмаров, где само «нормальное» существование кажется сном. Кошмар, как правило, завершается пробуждением в повседневной, «обычной» жизни. «Эти произведения, — отмечает Расмуссен, — полны намеков на жизненные обстоятельства С. Клеменса и, видимо, отражают его попытки каким-то образом справиться с семейными несчастьями 1890-х годов» (*Critical Companion to Mark Twain: A Literary Reference to His Life and Work*).

«Воображаемое морское путешествие приводит к непредсказуемым встречам с чудовищами глубин и ужасу отца, который оказывается не в силах защитить свою семью от трагических последствий» — вторит В. Дойно (*The Routledge Encyclopedia of Mark Twain*). «Темы романа развиваются через дуалистические

контрасты: корабль и дом; обычные и микроскопические размеры; черное и белое; частые описания теней, туманов, мрака — и редкие проблески ясности видения; любовь к семье и ужас перед неведомым; кажущееся пробуждение и сны».

Фабула романа достаточно необычна: некий Генри Эдвардс занимается с женой и двумя дочерьми микроскопическими наблюдениями, засыпает на диване и после беседы с призрачным «Комендантом Снов» оказывается со своей семьей и слугами на борту микроскопического корабля, совершающего путешествие в капле подкрашенной виски воды. Тайнственное плавание по мрачным областям микромира (здесь царит вечная ночь, ибо капля расположена вне светового поля микроскопа) длится много лет, причем ни команда, ни капитан, ни Эдвардсы не имеют ни малейшего представления о том, куда направляется их судно. «Комендант Снов» сообщает Эдвардсу, что он всю жизнь провел на корабле — сном, дремотным видением была его *другая* жизнь в макромире. Текст завершается нападением гигантского кальмара и сценами неудачного бунта команды, требующей от капитана сведений о маршруте корабля.

Идея этого «сновидческого» романа, как можно предположить, была также навеяна сном: 10 августа 1898 г. Твен записал, что ему приснилась «китобойная экспедиция в капле воды». В письме к писателю и литературному критику Уильяму Д. Хоуэллсу от 16 августа того же года Твен замечал, что вначале замыслил роман как «почти невыносимую трагедию», но затем решил придать по меньшей мере первой его половине комический оттенок (очевидно, предполагалась масштабная пародия на «морские романы» и записки мореходов). Затем читателя ждала, по словам Твена, «трагическая ловушка». Сохранившиеся записи — особенно заметки в записной книжке писателя от 21-22 сентября 1898 г. — позволяют реконструировать замысел финальной части романа. После 10-15 лет плавания — за это время семья Эдвардса успела пополниться сыном — капля попадает под отраженный свет микроскопа и бесконечный океан высыхает. Эдвардс и капитан, запасшись провизией, отправляются в долгий пеший переход — они ищут другой корабль, где держат пленниками их детей. Отчаянное путешествие оборачивается трагедией: на корабле они находят лишь высохшие тела. В этот момент Эдвардс просыпается у себя в гостиной. «Поднимает голову — он дома — входят жена и дети, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Его волосы поседели» — записал Твен.

Название тексту дал литературовед и историк Бернард DeVoto, куратор и издатель архива Твена, который опубликовал отрывок из романа в 1942 г.; завершённые фрагменты были полностью опубликованы DeVoto в составленном им сборнике Твена *Letters from the Earth* (1962). Перевод выполнен по этому изданию.

Повесть «Три тысячи лет среди микробов» была написана Твеном в Дублине (Нью-Хэмпшир) между 20 мая и 23 июня 1905 г. — через год после смерти Оливии Лэнгдон-Клеменс. По мнению литературного душеприказчика и биографа писателя А. Пэйна, Твен сочинял повесть для развлечения, с целью «отвлечься от горьких мыслей о своем одиночестве». Избегая еще не окончательно прижившегося в первой четверти XX в. термина «научная фантастика», биограф называет это произведение «фантастической историей», «своеобразной научной шуткой» и «сатирой, превосходящей гулливеровскую Лилипутию — праздником научной, социальной, математической мысли».

Как указывает Джон Таки (Tuskey), фабульная линия доведена в повести до логического конца; в сущности, только запись Твена, сделанная в 1906 г., указывает, что произведение не было завершено. В многочисленных заметках писателя, связанных с повестью, нет никаких намеков на дальнейшие сюжетные ходы. «Книга, будь она закончена, послужила бы скорее средством сатирической разработки всевозможных тем, включая биржевые махинации, Таммани-холл, русско-японскую войну и империализм», заключает Таки.

«В “Трех тысячах лет”, как и в прочих “символических” произведениях поздних лет, Твен обращается к космологическим и философским вопросам» — пишет литературовед Вирджиния Старрет. «Издеваясь над эгоцентризмом человечества, Твен описывает вселенную микробов, которая в действительности является телом вонючего, отвратительного бродяги по имени Блитцовский. В рассуждениях Гека о пантеизме рассматривается возможность существования души после телесного распада; размышляя в дарвиновском ключе о том, что всякая жизнь уничтожает другую жизнь, Гек обретает «покой и чистую совесть». Другие эпизоды подтверждают детерминизм Ипполита Тэна. В повествовании также находят отражение идеи Чарльза Дарвина, Уильяма Джеймса, Калеба Салиби... Генри Адамса и других; отведено в нем место и для сатирических замечаний по поводу империализма, “Христианской науки”, наследия Вальтера Скотта, единой валюты, американском корыстолюбии и развращающего влияния славы. В дополнение к философским и теологическим рассужде-

ниям, в “Трех тысячах лет” немало отсылок к детским годам Твена. Гек — как и в случае «Гекльберри Финна», его прототипом выступил друг детства писателя, Том Бланкеншип — путешественник по венам и артериям, в сравнении с которыми Миссисипи кажется “ручейком”».

В заключение остановимся на собственно научно-фантастической составляющей произведений Твена о микромире. Его «свифтовские» сатиры восходят не только к Свифту, но и к рассказу ирландско-американского писателя Ф. Д. О’Брайена «Алмазная линза» (1858) — отсюда в наброски романа «Великая тьма» перенесена идея высыхающей капли и исчезающего в ней микроскопического мира. В «Трех тысячах лет» Гек становится холерным микробом; это позволяет предположить знакомство Твена с рассказом американца М. Робертсона «Битва чудовищ» (1899), где главным «героем» выступает холерный вибрион*.

Повесть «Три тысячи лет среди микробов» была впервые опубликована в составленном Д. Таки сборнике неизданных произведений Твена *Mark Twain's Which was the Dream?: And Other Symbolic Writings of the Later Years* (1967). Русский перевод был напечатан в сборнике Твена «№ 44, Таинственный незнакомец», составленном и переведенном Л. М. Биндеман (М., 1989).

М. Ф.

* Перевод этого рассказа впервые опубликован в антологии *Битва чудовищ: Приключения в микромире. Том I* (Salamandra P.V.V., 2014).

Оглавление

Три тысячи лет среди микробов. <i>Пер. Л. Биндеман</i>	6
Великая тьма (Фрагменты). <i>Пер. М. Фоменко</i>	148
Комментарии	156

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.